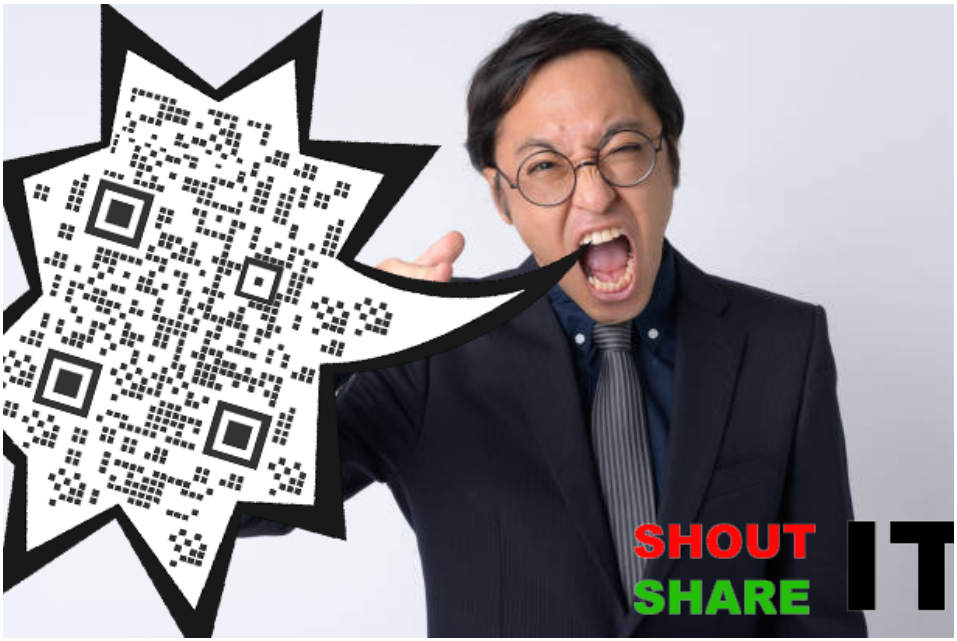
Г.И.УСПЕНСКИЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

- Федор Михайлович Решетников
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Федор Михайлович Решетников
(Биографический очерк)

I

Федор Михайлович Решетников родился в г. Екатеринбурге, Пермской губернии, 5 сентября 1841 года. Отец его до женитьбы служил в этом городе дьячком и вел нетрезвую жизнь. Чтобы избавить его от погибели, родной брат, женатый и служивший в екатеринбургской почтовой конторе, женил его на дьяконской сироте, девушке тихой и кроткой, после чего отец Ф. М. вышел из дьячков и поступил также в почтальоны, но пить все-таки не перестал и жил с женой до того плохо, что, когда брат его с женой переехали в Пермь, мать Ф. М., которому было в ту пору около девяти месяцев, не выдержала тяжкой жизни и вскоре ушла вслед за ними.

В Пермь она пришла во время страшного пожара и так была этим испугана, что заболела и умерла; девятимесячный мальчик остался на попечении дяди и тетки; отца же своего он *первый раз* увидал, будучи уже *десяти лет* от роду.

Таким образом, Ф. М. начал жизнь круглым сиротой. Но кроме сиротства, ему почти со дня рождения суждено было испытывать непрерывное влияние материальной бедности и великой нравственной забитости, запуганности окружавшей его среды. Бедность материальная в этом кругу была поистине потрясающая. В переписке близких к Ф. М. лиц, в письмах его самого к ним почти постоянно идут жалобы на крайне стесненное материальное положение: «А об огурцах, — как бы в отчаянии неоднократно восклицает дядя Ф. М, — и не поминай!..» «Живу, плачу огромную сумму без чаю, а с чаем нехватает моего жалования…» «Лечиться времени нет, — пишет родной отец Ф. М., — а о таком расходе, чтобы покупать масло (для леченья), дорого; почтмейстер денег не дал!..» «Не можете ли вы одолжить мне три копейки на пиво, *ежели у вас есть?»* — пишет к Ф. М. его знакомый и друг, а другой весьма серьезно доказывает, что на пятнадцать рублей *в год* жить нельзя. *«Живем между нищими и средними»,* — определяет свое положение в одном из писем дядя Ф. М., и определение это вполне верно.

Кроме бедности, всех этих людей крепко пригнетала запуганность перед начальством, которое в сущности хотя и возвышалось над ними не более как на вершок, но могло сделать все, что хотело. В немногих письмах бедного отца Ф. М. эта сила маленького высшего начальства рисуется довольно ярко: *«Не знаю, за что* преследует почтмейстер с самого моего прибытия. Живу как должно; как у денщика или у крепостного, сюртук не слезает с плеч… Я месяца с три *всяко вытягался* для

почтмейстера, а он меня так уважил… что лучше нельзя… А живу как денщик…» «Покорно прошу, любезный братец, — говорится в конце того же письма, — чтобы письмо это не узнал кто дальше, не услыхал бы почтмейстер наш, *то он меня съест».* Или в другом письме: «Почтмейстер просит, чтобы меня (отца Ф. М.) перевели к нему; *но сохрани меня небесная сила от такого ига; он там вдосталь из меня оставшийся сок вытянет».* Отрывки эти мы привели потому, что в них с полною искренностию высказана та беспомощность перед маленьким высшим начальством, которую испытывали все близкие родственники Ф. М. Все они «вытягаются» перед этим начальством, а начальство из них «вытягивает оставшийся сок», и притом *неизвестно за что.* Все они ходят как сонные, забитые и убитые… «Так и живу, ни здесь, ни там, ни здоровый, ни больной… а лечиться времени нет… *посему* прошу, любезный братец, выспросить у Г. Т., *как пить крепкую водку…»*

Подавленный бедностию, забитостию, этот круг людей *«между нищими и средними»* во всем полагался только на бога, на всевидящее око, о котором в переписке родственников и знакомых Ф. М. упоминается чуть не в каждом письме, и главным образом — на *терпение.* «И верно уже такой рок, — находим мы в письме одного из самых *начитанных* людей этого круга, — что все предвидится только сражаться с терпением, и *хорошо бы было и то, ежели бы тому хотя* предвиделся *конец,* но ожидать того, по *моему мнению,* не предвидится никакой надежды».

Мы могли бы привести здесь множество примеров, доказывающих громадную, железную силу терпения и глубокую, искреннюю преданность провидению, которыми только и поддерживалась кое-как эта забитая и вконец обезличенная среда; но и приведенных выписок уже достаточно, чтобы видеть, в какой мере среда эта могла благоприятствовать умственному развитию Ф. М.

II

Дядя и тетка Ф. М., ставшие его воспитателями, всецело разделяли как материальные, так и нравственные недостатки своего круга, с тою только разницею, что сам дядя-воспитатель смотрел на свое положение несколько определеннее других. Он не позволял себе иметь «мнений», хотя бы и о том, «что хорошо бы, ежели бы терпению предвиделся конец»; не унывал так, как унывал отец Решетникова, не знавший, *«за что-«* все это суждено нести. Никаких колебаний мысли в воспитателе Ф. М. не было: из материалов, имеющихся у нас, видно, что-человек этот раз навсегда порешил, что надеяться надо только на бога, что бедность и подневольность неизбежны и что терпению конца не будет. Порешив с этим, он всю жизнь, неуклонно и не оглядываясь по сторонам, тянул служебную лямку, тяжким трудом зарабатывая кусок хлеба, и, приняв на свое воспитание маленького Решетникова, не мог воспитывать его иначе, как в приучении к тому же терпению, повиновению, искренно веря, что для него, как для сироты, предлежит та же самая тяжелая забота о куске хлеба и та же самая жизнь «между нищими и средними», в которой «терпение» играет первую роль.

На беду, питомец их с первых дней детства оказался мальчиком бойким, веселым, резвым, обнаруживая необыкновенную впечатлительность. [1] И с первых же дней обнаружения этой резвости воспитатели, побуждаемые, разумеется, не чем иным, как только желанием своему питомцу добра, стали искоренять эти врожденные в нем и непригодные среди скучного влачения жизни качества. И вот, благодаря тому, что Решетников уродился натурою одаренной, и тому, что одаренные натуры в этом кругу действительно совершенно ненужны, целые *десять* первых *лет* посвящены, со стороны воспитателей, самому тщательному и неусыпному *битью* и *дранью* их воспитанника. Кроме желания ему добра, повторяем, этими бедными людьми не руководило ничто другое; но в то же время нельзя не видеть, что это желание добра выражалось способом поистине варварским. В повести Ф. М. «Между людьми» автор, поместивший в ней множество случаев своей жизни, рисует картину своего детства весьма подробно и обстоятельно, и, читая их, нельзя не дивиться необыкновенной выносливости Решетникова. Били его положительно *за все,* и притом *все,* кто хотел и считал нужным, а иной раз и без всякой надобности. Ребенок везде «лез», и колотили его тоже везде. Дядя принес лубочную картину и стал рассматривать, воспитанника разобрало

любопытство, он потянул картину к себе и разорвал пополам… «За это дядя меня так ударил, что я ударился головой об пол; изо рта пошла кровь». Одна «Священная история ветхого и нового завета» с картинами, книга, единственная во всем доме, сколько неисчислимых бед причинила Ф. МЛ Картинки постоянно привлекали к ней маленького Решетникова, и постоянно, аккуратно каждый раз, как только книга попадала ему в руки, он непременно получал удар этой же книгой в голову. Чтобы отделаться от нее, он засунул ее в печку; книгу вытащили, но за это, — говорит Решетников, — «дядя *долго драл* меня *ремнем».* Били его также и за то, что он любит сказки, а не молится за отца и мать, которых он никогда не видал. Захочет он, например, подделаться к дяде, оказать ему услугу, чтобы поехать за Каму «рыбачить», примется чистить ему сапоги, чистит и старается до тех пор, пока тетка не выхватит из его рук щетки и не ударит ею по голове. За такие же провинности колотил его весь почтовый двор, где он, так же как и дома, всюду лез, чтобы посмотреть, нет ли где «хороших картинок, хороших книг с картинками?» «Мне нравилось, — говорит он, — все, что я видел в *первый раз, — мебель, платье,* и вещь, особенно понравившуюся, я норовил припрятать». Недовольные им, проучив его у себя, на месте преступления, шли, кроме того, жаловаться к воспитателям, которые еще раз учили его за шалости у чужих. «Пес», «ножовое вострее», «балбес», «безрогая скотина» — вот названия, которым величали его в это время все.

Словом, не будь натура Решетникова исключительна, он бы давно мог сделаться вполне забитым, заколоченным ребенком; но у него, в отместку за обиды, развелась злоба и жажда мести. Впоследствии он сам, вспоминая об этом времени, называет себя — «злое дитя». И действительно, природная даровитость его показала себя в выдумывании удивительнейших мерзостей, которыми он мстил. Ему ничего, например, не стоило засунуть в квашню или кадку с водой дохлую кошку, измазать в грязи чистое, развешанное белье, вытащить из самовара кран, забросить его через забор и распаять самовар. Он сделался истинным божеским наказанием целому двору, истинным врагом всем и каждому; вскоре ему не было другого имени, кроме «вор», «поганая рожа»; его вихры, уши и щеки сделались общим достоянием. Били и ругали все, и он ругал всех, воевал со всеми, запуская камнями, кусался, бил врагов «по лицу», — и в то же время не уставал изобретать еще новые и новые пытки врагам своим. «Лишь только отдерут меня, — говорит Решетников, — я сяду куда-нибудь в угол и думаю: что бы мне еще такое сделать? да так, чтобы не узнал никто?»

III

Это обоюдное безобразие тянулось, как мы уже сказали, десять лет. По временам на маленького Решетникова находили минуты ужаснейшей тоски, он плакал и Думал о том, чтобы «убежать отсюда». Десяти лет (1851 г.) его отдали в бурсу, и, стало быть, к битью воспитателей и соседей прибавилось еще битье училищное, школьное. Переносить все это стало уже решительно невозможно, и тайное желание избавиться от этого мучения определилось в Ф. М. как настоятельная необходимость — «бежать». И скоро Решетников действительно убежал. Прямо из бурсы он ушел на колокольню и просидел здесь целый день с раннего утра. К ночи его охватил страх; он убежал с колокольни на реку и здесь ночевал. «Поутру, — говорит Решетников, — я ходил как помешанный от голода». В каком-то рыбачьем шалаше нашел он полковриги хлеба, взял его себе, и тут же, не зная зачем, провертел в лодке дыру, распластал невод, обрезал несколько удочек. «Этот день я провел хорошо, — говорит он в упомянутой повести, — прогуливаясь по траве и по лесу и напевая песни. Я радовался, что я на свободе, что меня никто не стесняет и я могу делать все, что только хочу. Я торжествовал над тем, что я один из всех бурсаков убежал далеко, что их дерут… «Пусть вас дерут!» — говорил я громко и хохотал. Я очень был счастлив и счастливее себя не находил человека; я думал: «А как хорошо! Ни за что я не пойду отсюда никуда, ни за что не пойду… Я и к дяде не пойду!» Мне ничего не нужно было, хотя и казалось мне, что в каждом кусте дерева кто-то сторожит меня, а на некоторые кусты я даже и смотреть-то боялся. Когда проходил мой страх, я думал: а хорошо бы здесь состроить дом. Я бы тогда дядю и тетку взял с собою жить, они *не стали бы меня бить…* Потом мне вдруг захотелось плыть куда-то дальше». Он сел в чью-то лодку и стал грести вверх, но силы были слабы, лодку несло вниз и прибило к берегу. Здесь, сидя в лодке и доедая остаток хлеба, беглец мечтал и поглядывал на город, как вдруг на него налетел с ругательствами и проклятиями какой-то мещанин и принялся тузить — *не на милость, а на смерть. На лице была кровь, голова страшно болела, волосы лезли.* Скоро вслед за мещанином явилась целая флотилия бурсаков, разыскивавших беглеца, и когда последний убежал от них, они настигли его, связали и безжалостно поволокли по кочкам в бурсу, награждая палочными ударами! В заключение этого тиранства беглецу, по возвращении в бурсу, была задана *баня,* после которой Решетников пластом пролежал в больнице *два месяца.*

Но этим дело не кончилось. Потребность бегства не умерла в Решетникове. Несмотря на всевозможные истязания, лежа в больнице, он уже обдумывал план нового бегства, и действительно, как только поправился, убежал опять. Прежде всего он отправился на так называемую «Мотовилиху» — завод, отстоящий от г. Перми версты за три. Бурсацкий сюртук свой он бросил в воду, чтобы не узнали, что он бурсак, вымазал грязью лицо, рубашку, панталоны и пошел по заводским домам и кабакам просить хлеба, «христа ради».

— Чей ты, парнюга? — спрашивали его.

— Материн, — уклончиво отвечал бегун.

Долго он шатался здесь между простым народом и мастеровыми, которые давали ему кров и кормили его. «Много, — говорит он, — увидел я здесь хорошего; мне так понравилась простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них…» Много в то же время он увидел и дурного, особенно в быту нищих, с которыми он невольно должен был столкнуться, как человек, бродящий без пристанища, которые, наконец, просто насильно таскали его с собою, заставляли плясать, поили водкой. Бывали минуты, когда он кричал и просил встречных, чтобы кто-нибудь спас его от них; но никто не давал помощи. На работу его принимали без имени, а имя свое он скрывал. «И бог знает, что бы было со мною, если бы не спасла меня одна женщина». Женщина эта, часто бывавшая у дяди в городе, узнала беглеца и привела домой. «Дело известное, что было после этого», — заканчивает Решетников историю этого побега, намекая на неизбежное дранье.

Эти два побега имели и на мысль и на характер Решетникова самое существенное влияние: во-первых, он познакомился с народною жизнию, узнал в ней *дурное и хорошее,* что дало много пищи его любознательному уму, который до настоящего времени истощался только на изобретение «злых проделок», — и во-вторых, за этими побегами неизбежное возвращение опять к тем же мучительным истязаниям и скуке заставило его сильно призадуматься о своей печальной судьбе и судьбе окружавших его людей. Целый год после второго бегства он провел в доме дяди, сидя в углу за дверью и думая о себе и своем прошлом, и здесь впервые зародилась в нем та симпатичная и дорогая черта его будущих произведений, которая определяется простым словом — *«правда».* Всеобщая ненависть, которою он был окружен после второго побега, и одиночество, как последствие этой ненависти, были так сильны, что подавили в бедном ребенке всякую возможность быть злым, а пробудившаяся мысль привела его к полному раскаянию перед всеми, кому только он делал что-

нибудь худое. В нем начался процесс глубокого внимания к окружающим, близким к нему людям, принимавший благотворное направление *прощения их.* Понятно, что такая масса несчастия, хотя бы в виде всеобщего презрения, такая масса новых мыслей, полная беспомощность в разрешении их, отсутствие какого-нибудь утешения до того измучили душу мальчика, что часто, сидя в своем углу, он рыдал. И в это-то время вдруг ему говорят, что он увидит своего отца, в первый раз. Не видя его никогда, он теперь, одинокий и всеми обиженный, возлагал на своего отца великие надежды, радости его не было предела.

И вот однажды вечером, когда Ф. М. уже лег спать, дядя привел с собою какого-то человека в почтальонской одежде, обрюзглого, с отекшим лицом. Человек этот постоянно болезненно кашлял и рассказывал о том, как он несчастлив, как к нему несправедливы, как его бьют. «Ты не поверишь, — говорил он дяде, — что этот смотритель каждый день топтал меня ногами, бил меня в грудь…» Страх и радость охватили Решетникова при виде отца, но когда сын подошел к нему, бедный отец не знал, что сказать… «Большой вырос», — произнес он. — «Что же ты не целуешь отца?» — «Да что мне его целовать-то?..» И больше ничего. На другой день, разговорившись с теткой о сыне, отец упрашивал ее: «Дери ты его, что есть мочи дери». Когда ему предложили взять сына с собой, он отвечал: «Куда мне с ним?.. не надо! мне и одному горько жить». Уезжая совсем, он мог сказать сыну только: «Ну, прощай! слушайся!» — и пошел прочь. «Мне тяжело было, — говорит Ф. М., — что отец уехал, а я не высказал ему своего горя».

Таким образом, встреча с отцом не только не облегчила души маленького Решетникова, но, напротив, уяснив ему полное его сиротство и одиночество, сделала его еще более несчастным в своих глазах. Он так был подавлен всеми событиями последних лет, что на него напала апатия, равнодушие ко всему — и к науке и к порке. Он словно окаменел. Бежать он уже не думал, а когда драли (он опять стал с некоторого времени ходить в училище), каковое дранье производилось аккуратно в конце каждого месяца, то он старался только стать в конце шеренги, предназначенной к сечению, потому что к концу ее сторож уставал. Иногда он отделывался гривенником, который зарабатывал, занимаясь в почтовой конторе составлением крестьянам писем, что тоже немало помогло ему узнать народную жизнь. От учителей он отделывался тоже своего рода взятками: он отправлял им задаром письма (благодаря дяде), доставлял письма, полученные на их имя, а главное, что впоследствии обрушилось на его голову

целою грудой несчастий, таскал тайком с почты газеты, каковое таскание учителя *поощряли тем*, что оставляли измученного ребенка в покое. Такое апатическое состояние продолжалось довольно долго, и, не имея попрежнему никакой поддержки, возбужденная предшествовавшими обстоятельствами мысль его могла бы заснуть понемногу и принять общее направление мыслей бедного, запуганного класса людей, его окружавших; но одно неожиданное обстоятельство не дало возможности умереть раз пробужденной мысли, хотя и разразилось над ним жестоким образом.

Неожиданно открылась покража газет и журналов в почтовой конторе. Таская эти газеты и конверты, [2] он, по прочтении их господами учителями, имел обыкновение забрасывать их чрез соседний забор в снег; бывали случаи, что он со страху забрасывал туда пакеты, не рассматривая и не читая их, и в числе таких-то нечитанных пакетов забросил один весьма важный манифест (1855 г.). Дело было нешуточное, виновника разыскали и предали формальному суду (Ф. М. был четырнадцатый год). Дело тянулось два года.

Что же должен был чувствовать бедный Решетников, сидя эти два года в том же углу, за дверью? Сознание собственной виновности, пробудившейся, как мы уже упоминали, после первого побега, здесь возросло до высшей степени. Еще тогда, познакомившись с настоящей нищетой, от которой, как мы видели, он кричал и просил людей *спасти его,* — Ф. М. стал чувствовать себя глубоко виноватым перед воспитателями, которые, несмотря на свою бедность, ограждают его от этой нищеты, его, не имеющего ни отца, ни матери и, кроме зла, ничего не сделавшего для своих благодетелей. В самом деле, сколько переплатил бедный дядя Ф. М. за эти распаянные самовары, за украденные вещи, квашни, опоганенные всунутой туда кошкой? И тогда уже Ф. М. насчитывал на своей душе великое множество грехов и зла; что же должен был он чувствовать теперь, ежеминутно видя перед собою дядю, который лез из кожи, тратил последние копейки, чтобы помочь делу своего «злого» дитяти?

Эгоизм Ф. М. был совершенно раздавлен, разбит этим происшествием; на ругательства тетки он отвечал рыданиями и *бог знает, как был готов благодарить ее;* он удивлялся, как дядя и тетка *не боятся* держать его у себя. Он старался душою и телом услужить им, носил дрова, воду, исполнял все, что они ни прикажут.

Это происшествие, этот удар, как ни был он тяжел и неожидан, вывел Ф. М. из начинавшей одолевать его апатии,

пробудил его мысль, снова обратил ее на путь внимания к человеческим поступкам. Сделав своим родным такое зло, какого ни один из них не думал делать ему, он со времени этого происшествия навеки сохранил великую и дорогую потребность — не осуждать ближнего, не верить личному впечатлению, если оно нехорошо, а разбирать его беспристрастно, правдиво, не урезывая в нем ни малейшей черточки.

Это была самая дорогая минута в развитии Ф. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. В самом деле, чтобы от ненависти к врагам дойти не только до прощения их, но даже до боязни, как они могут его держать, оправдать их и благодарить со слезами, — мысль маленького Решетникова должна была коснуться массы общественных вопросов, должна была работать над всем механизмом окружавшей его жизни. Минута, повторяем, была драгоценная для самого плодотворного воспринятия знания.

Но минута эта пропала даром, как впоследствии пропадало много еще таких минут; жизнь Ф. М., как бы на зло, постоянно и настойчиво не давала ему того, чего нужно, и надо удивляться, как еще уцелело в нем то непосредственное чувство правды, какое после многих лет тяжких испытаний с такою силою проявилось в его произведениях.

IV

Уголовное дело, измучившее как самого Решетникова, так и его родственников, кончилось ссылкою виновника в Соллкамский монастырь на епитимию. Пребывание в этом монастыре было весьма неблагоприятно для хода развития Решетникова. Ехал он сюда, как сам говорит в одном месте записок, «с радостию печальною». Покидая, хоть и на время, место стольких страданий, можно было действительно ощущать некоторую радость, но печаль и раскаяние заглушали ее. Ф. М. рыдал, обливался слезами, расставаясь с своими воспитателями, и не переставал питать к ним глубокой преданности, называя их в записках своих «единокровными, милыми родственниками», «защитниками, *которые хотя и надоели своими ворчаньями, но все-таки* всегда лучше *знаменитых властителей земли».* Задушевною мыслию его в это время было поступить в монахи.

Этим прекрасным возбуждением мысли Ф. М. родственники и воспитатели его не только не успели и не могли воспользоваться, не только не направили к знанию, но даже просто не дали своему воспитаннику опомниться, одуматься, отдохнуть. Квартирные хозяева, тоже приходившиеся ему родней, у которых он поселился в Соликамске, кроме бабушки, старой и больной, которая любила рассказывать своему внучку сказки, чуть не с первого же дня приезда не упускали случая упомянуть ему о его деле, грубо затронуть каким-нибудь грубым упреком. То, например, хозяйка квартиры советует своему мужу (родственнику Ф. М., служившему тоже по почтовой части) не класть его спать в конторе, «а то он украдет пакеты»; то упрекают его в том, что он даром живет, курит хозяйские папиросы. От этих новых хозяев Решетникова не отставали и старые его воспитатели, к которым он в настоящую минуту питал такие благодарные чувства. Они именно принялись, что называется, *бить лежачего,* хотя, не скроем, все с тою же целью и желанием ему добра. В каждом письме непременно идут вопросы о том, «не нужно ли тебе (то есть Решетникову) чего-нибудь? есть ли чай? доволен ли? сыт ли?» Но зато самая большая часть этих писем посвящена самым жестким и оскорбительным упрекам за прошлое. «Подумай, — пишет ему воспитатель вслед за приездом Решетникова в монастырь, — чтобы тебе кончить курс ученья; знай, что ты, не кончивши курс, нигде не можешь поступить на службу коронную и должен записаться в податное состояние, а после того, по приговору общества и злых людей, отдадут тебя в военную службу, и тем опозоришь природу мою. Ты, имея дядю, который с

детства твоего пекся о твоем благополучии и *науках,* не пощадил его! Даже и теперь еще пекусь, чтобы тебе доставить счастие; но если ты этого не чувствуешь, *то накажет тебя всевидящее око* за обиды, мне нанесенные, и тем сокращаешь дни моей жизни».

Такого-то рода упреки, приходившие к нему в письмах чуть не каждую почту, не могли повлиять благотворно на его мысль; впечатлительность Решетникова начинает как-то грубеть от этих слишком уже частых толчков, и он по необходимости начинает примиряться со многим, с чем незадолго перед этим честно настроенная мысль его ни за что бы не примирилась.

> «Когда я жил в Перми, — пишет он в своих записках, — я имел величайшее хотение, чтобы мне остаться в монастыре; но в Соликамске я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота».

В другом месте тех же записок он пишет: «Жизнь моя стремилась к истинному познанию, чтобы быть истинным христианином, но ожидания мои не исполнились; я ходил каждый день в монастырь и смотрел на их образ жизни, и все они, кроме… (имена четырех монахов), не похожи на монахов и делают разные непристойности». В доказательство этих непристойностей Решетников приводит разговор:

«— Есть у тебя чем опохмелиться?

— На вот, я уж выпил все.

— Неужели ты в ночь выпил ведро пива?

— Да, у меня вчера был дьякон, и мы с ним погуляли славно!

— Ай да славно, проклятые, вы пируете, нет чтобы мне оставить!»

Сцены, приводимые Решетниковым, действительно не особенно привлекательны, но сам он так утомился от оскорблений и жизненных ударов, что готов был искать отдыха и в этом, не совсем опрятном, обществе и мало-помалу стал проникаться его интересами. Учиться уже он не хочет; хотя его и принимают вновь в училище, но он не идет, он начинает якшаться с почтальонами, ходит с ними, в *почтальонском сюртуке,* собирать *новогоднее* и выпрашивает этим хожденьем деньги, сначала один рубль пятнадцать копеек, потом сорок пять копеек. На эти деньги, не умея еще истратить их так, как тратили новые его знакомцы, он покупает себе помады, за каковой покупкой следует тотчас же грозное внушение от родственников.

> «Осведомился я, — пишет воспитатель, — что ты взял в привычку шататься и в карты играть с

почтальонами, и *примазываться помадой,* и свадьбы смотреть, а за этим откроются и другие пакости, за которые ты подвергнулся хотя и не тяжкому, но все-таки наказанию и *до смерти твоей нарицанию и пороку.* Не лучше ли тебе было и будет заниматься науками, или ты хочешь быть и вести жизнь в дурацком положении, которое для тебя будет лучше, — выбирай то или другое. Я уж не могу тебе дать заочно какое-либо наставление, потому что ты и в глазах моих» вот как уже насолил, что я по гроб не должен позабыть сделанные тобою пакости, за добродетель мою, мое воспитание и хорошее содержание… Впрочем, ведь ты мне родной, и я еще не имею каменное сердце…»

Но как ни часты и ни энергичны были эти громы, они уже не могли отклонить Решетникова от удовольствия, которое он стал находить в обществе хотя и грубых людей, но в то же время таких, которые не оскорбляли его за прошлое (один монах, узнав его историю, даже расцеловал его), которые смотрели на него не только как на равного, но и как на человека, развитого больше, нежели развиты они. И вот начинаются у Решетникова с этими людьми дружба и панибратство. В дневнике его мы поминутно встречаем страницы, весьма ярко характеризующие этот период жизни Решетникова.

«13 числа 1857 года был на похоронах у станового пристава первого стана, у которого умерла мать Мария. Казначей позвал меня, чтобы я держал ризы, а Ивану не велел ездить, и я простоял обедню. По окончании литургии протоиерей К-в сказывал проповедь, похваляя жизнь новопреставленной усопшей Марии… С кладбища мы, то есть я и… (здесь имена нескольких монастырских послушников), возвратившись в квартиру станового, сели за одним столом. Потчевали меня и ерофеичем и простой водкой. Тут еще В. прятал вино простое под стол, а И. почти один выпил графин ерофеичу, и уже пьян очень был, и они с М. кричали всю дорогу».

Вот какого рода было времяпрепровождение с этими приятелями. Этим заняты все три месяца, на которые был он сослан в монастырь, и о других занятиях его за это время мы не имеем никаких сведений, исключая того, что по временам он читал книги духовного содержания, пел на клиросе, за что, как говорит сам в записках, «снискивал любовь монашествующих». Под конец пребывания своего в монастыре он с каждым днем все

больше и больше привязывался к нему и к новым знакомым.

> «И так я чудно и весело проводил время с монахами; они меня поили пивом, и я часто приходил домой пьяным. Да и все меня любили сердечно, и я тоже питал свою любовь к ним. Иногда обедал и спал в кельях… Словом, очень весело я провел время с доброю братиею, и в особенности тогда, как пили пиво…» [3]

> «Мрачно и печально, — пишет он перед истечением срока своей ссылки, — что я разлучаюсь с моими друзьями, *истинными христианами.* Но что делать, дядя мой единокровный хочет этого. Но я еще когда-нибудь могу поступить в монастырь, и мне хочется кончить жизнь там, где живут только мирно».

В бумагах Ф. М. мы находим письмо к настоятелю, отцу Леониду, в котором Решетников просит определить его в послушники. Вот это письмо:

> «Ваше преподобие,
> отец Леонид!
> Мне желательно быть послушником вашего монастыря. Отца и матери у меня нет, а после двадцать третьего марта (после истечения срока наказания) я куда хочу, туда и поступлю на службу. Я еще давно этого желаю, я даже клялся богу, чтобы по окончании дела поступить в монастырь. Итак, всечестный отец, прошу, *придайте* мне благий совет…» — и проч.

Письмо это написано, по всей вероятности, во время самого разгара дружбы с монастырскими людьми. Несмотря на эту дружбу, через три месяца Решетникову пришлось расстаться с ними.

> «В среду я простился с… (имена друзей) и в 11 часов отправился из Соликамска. И тут, поровнявшись с монастырем, невольно слеза выкатилась у меня (когда я вспомнил), что я разлучаюсь навеки с монастырем сим и его доброй братией. И вот последний взгляд на этот монастырь, и, наконец, показались только крестики и потом совсем из виду потерялись».

Ф. М. возвратился в Пермь в 1857 году. Ему в это время было шестнадцать лет.

V

Это трехмесячное пребывание Решетникова в монастыре имело весьма дурное влияние на его развитие. Помирившись по необходимости, как видели мы, с непривлекательными монастырскими нравами, он должен был невольно подчиниться и философии этих нравов, мудро примиряющей ломание заборов со спасением души; вследствие чего простота и искренность его суждений о людях, их поступках и самом себе на долгое время, лет по крайней мере на пять, затемняются вычурностию и неискренностию семинарской полуобразованности. Упомянув в своих записках с полною откровенностию о том, что пиво пить было весьма приятно, он тут же прибавляет: «*но видит бог,* что я, во время жития моего, хоть бы одну каплю вина выпил». Эта приписка, это возвращение к богу при упоминании только о вине, тогда как при упоминании о пиве воззвание это оказывается не нужным, — эта приписка явно монастырского происхождения; три месяца назад Решетников не написал бы этой лжесмиренной фразы. Таким странным оттенком отмечены все дальнейшие заметки его, писанные по возвращении в Пермь. Так, например, в доме дяди, где поселился он снова, жила девушка, дочь бедной вдовы, вместе с своею матерью. С этой девушкой Решетников был знаком с самого детства, и она ему очень нравилась. Впоследствии мы скажем об ней подробнее, так как она еще раз встретится нам в жизни Ф. М. Теперь достаточно сказать, что она ему нравилась. Но когда это заметили и дядя в шутку сказал ему однажды, что он отдаст ее за него замуж, то Решетников, под влиянием лжецеломудренных монастырских взглядов, приходит в негодование и пишет: «Я не могу взять за пример женщин и не могу соблазняться примером их. Бог знает, что я имею усердие к его великой церкви и в век буду стремиться к его церкви, и будет время, когда я уйду в монастырь, в уединение, и там буду молиться небесной невесте, пресвятой богородице и приснодеве Марии…» Между тем как до монастырского житья он бы просто, искренно сказал, что ему «стыдно» толковать об этих предметах.

Жизнь в доме дяди и тетки пошла прежним порядком, и хотя о битье нет уже помину, но также не видно, чтобы с ним обращались особенно ласково. Решетникова опять отдали в то самое училище, из которого его услали в монастырь, и притом он должен был поступить снова в первый класс.

Вот отрывок из его записок, из которого читатель может судить о том, какова была жизнь Решетникова у родственников и, главное, до какой степени три месяца ссылки исказили в нем

прежнюю искренность взглядов на себя, на родных и на товарищей.

«Здесь (то есть по возвращении в Пермь) я видел все неприятное. Опять тетка ругает меня, и бог знает за что она меня ненавидит, насказывает дяде то и се, и тот ей верит, ругает и проклинает, и при сих-то горьких счастиях я дома все молчал… я занимался богомыслием и терпел… когда уже чуть-чуть слеза не выпала из глаз. Когда-либо тетке скажешь слово, она говорит: «Что ты на меня кричишь?» и ругается, что я неладно говорю и не могу ей лучше говорить. Как же тут не молчать, ежели я говорю неладно? Но ежели же молчать, то она ругается, что я молчу, и вот какое положение мое! Да еще не дают учить мои уроки: «Делай то и другое», — и потом ругается. Кто ни придет к ней, всякому наговаривает на меня, что я не говорю с ней или не делаю ничего. Но ежели кто вообразил и был бы на моем месте, то узнал бы и поверил, в чем дело состоит: но они верят ее словам и думают, что это правда. Бог с ними, а пока у меня есть силы и возможность, буду терпеть ив молчании призывать моего господа и просить его милости, ибо к кому нам, грешным, прибегать, как не к нему. Боже, спаси меня ныне и даждь терпение мне во дни скорби моея, да не погибнет душа моя до конца; *спаси мя* и *тетку,* и обидящих мя, спаси и помилуй, и вечной их обители сотвори, помилуй по милости твоея, *якоже* помиловал праотец *Адама* и *Еву,* да к тебе всегда вопием: помилуй нас, господи, владыко наш и благодетелю, и тебе славу воссылаем вовеки. Аминь».

«Но вот случилось в жизни моей происшествие. Не только в новейшее время, но даже и в древние времена, по заведению иностранцев, открыто и у нас в России играть в карты. Этим *основывается* наша публика господ. В этом кругу был и дядя мой, и он иногда для увеселения скуки занимался сим увеселением. Тетка очень не любила это. Странно очень то, что тетка, лишь мужа ее не будет дома, скучает и не спит, хоть он приди в восемь часов утра. Когда же он придет, она начинает его ругать, зачем он играл в карты. Кому такие выговоры, *особенно от женщины,* понравятся? Подумать надобно, сколько тяжело сносить тому укоризны, кто своим трудом кормит все семейство. Не один мой дядя играет (он не играет, но еще учится), но и все

почтальоны. *Что же учить женам мужей,* которые вполне по своему образованию, частию от наставников, частию от публики могут дать тысячи наставлений и полезных предметов своей жене?»

Далее описывается весьма неприятная сцена, происшедшая между родственниками Ф. М, причем были и УДары, наносимые *долготерпеливым и кротким* мужем своей жене, и требование последнего, чтобы жена шла вон, куда ей угодно.

> «Но, — продолжает Решетников, — она *улестила* его, и он *помиловал* еще ее. Я, *взирая на жизнь их,* жалел их обоих и *укреплялся на молитвы,* которые, может быть, помогут мне и ихнему прощению во грехах. (Смотри сочиненную мною молитву.)»[4]

Далее вот что говорит он о своих училищных товарищах:

> «Кроме того, печально мне смотреть на братию мою, учащуюся со мною: все наполнены хитрости, обмана и богохульства, что должно быть непростительно в наших летах. Но бог милостив еще к нам. Даже К. (ученик) уже прилепился к сетям дьявола. О, сколь ныне свет развратился! *Даже младенцы, недавно выступившие в свет божий, и те хулят имя господне и не страшатся суда всевышнего».*

Мы с намерением привели целиком эти отрывки, чтобы читатель сам мог судить, до какой степени упал и извратился в Решетникове даже и тот уровень развития и понимания, который был заметен у него прежде. Мы могли бы привести здесь целые десятки страниц его рассуждений о грехах, которые он научился видеть чуть не на каждом шагу; его рассуждений о возвышеннейших предметах, изложенных им со слов монастырских послушников, если бы в этих рассуждениях было возможно понять хоть две-три строки, поставленные рядом. Читая эти страницы, совершенно понимаешь, почему тетка возненавидела Ф. М. Это была простая женщина, не понимавшая умозрений своего питомца, который, пожив в монастыре, настроился смотреть на таких бедных людей, как его воспитатели, свысока и безучастно, повторяя по временам: «Боже, прости им, не видят бо, что творят». Такое искажающее влияние ссылки было тем особенно пагубно для развития Ф. М., что он искренно веровал в эту вынесенную из монастыря мораль и действительно полагал, что теперешние мнения и мысли его —

сама истина.

От такого изуродования своей мысли Ф. М. освободился не скоро, равно как и от другого, не менее губительного влияния среды мелкого чиновничества, о котором мы скажем ниже.

В этих «богомыслиях и умозрениях» прошли 1857 и 1858 годы. Эти два года посвящены были чтению книг духовного содержания, переписке с одним из родственников по тем же возвышенным и обоим им недостаточно ясным и доступным вопросам. Мы не приводим этих писем, боясь утомить читателя, ибо, при неясности и запутанности самой мысли, изложение этих писем и рассуждений есть верх неестественности и вычурности. В продолжение этих двух лет любимыми занятиями Ф. М. было ходить по церквам, петь на клиросе, слушать проповеди и сочинять такие же проповеди самому. Впрочем, даже и в это время нельзя сказать, чтобы такое якобы религиозное настроение поглощало собою всего Решетникова.

Иногда любил он отправиться порыбачить на Каму, где сходился с народом и узнавал жизнь и нравы крестьян, бурлаков.

В 1859 году воспитатели его переехали в Екатеринбург, где дядя получил место помощника почтмейстера. Ф. М. поместился на частной квартире. Оставшись теперь на свободе, не затрудняясь ученьем, так как приходилось повторять старое, Ф. М. как будто очнулся, ожил; в записках его нет уже рассуждений о непостижимом, а, напротив, идут живые очерки лиц, с которыми ему теперь пришлось жить одному. Он делается простым и спокойным летописцем окружающей его жизни, описывает городские происшествия, пожары, [5] ездит рыбачить на Каму, где с простым народом проводит целые ночи. «Часто в это время, — говорит Ф. М., — случалось, что я, сидя в лодке, глядел куда-нибудь вдаль; глаза останавливались, в голове чувствовалась тяжесть, и вертелись слова: как же это? отчего это? И в ответ — ни одного слова. Очнешься — и плюнешь в воду. Начнешь удить и думаешь: ах, если бы я был богат, я бы накупил книг много-много, я бы все выучил!»

Эти немногие месяцы пятьдесят девятого года были весьма благотворны для него. Несколько извратившаяся мысль отдохнула на непосредственном восприятии жизненных впечатлений, из которых, быть может, вышли впоследствии лучшие его произведения. Но, к несчастию Решетникова, это благодатное время, когда мысль его начала снова выходить на настоящую дорогу, продолжалось не более полугода, а именно с февраля 1859 года по июнь. 25 июня он кончил курс уездного училища и «получил аттестат с отличными, хорошими, а из арифметики и геометрии достаточными успехами», после чего

ему опять нужно было вернуться в дом родственников, живших в Екатеринбурге.

VI

Ему, невидимому, сильно не хотелось этого; он норовил поотдохнуть лето, поглядеть на других своих родственников, живших в разных местах Пермской губернии; но в том кругу, который так хорошо характеризовал себя вышеприведенной фразой — «между нищими и средними», — для отдыха не было свободной минуты и, следовательно, такие мечтания Ф. М. не могли осуществиться. Еще прежде, нежели он успел окончить курс и получить аттестат, воспитатель поспешил разрушить эти мечтания письмом, в котором говорилось:

> «Душевно радуюсь, что оканчивается учение твое, но теперь надо подумать об определении твоем, а не о гулянке. Тебе хочется повидать А<лексея> в Тагиле, но что из этого выйдет, я наперед скажу, то, что ты, на первый даже день, должен иметь свою пищу по случаю бедности и нетрезвости его… Думай-ко лучше о службе, а не о прогулке своей».

Таким образом, ехать в Екатеринбург и тотчас поступать на службу для Ф. М. было делом неизбежным, и на другой день, по окончании курса он, скрепя сердце, отправился в дорогу. «Не могу вспомнить, — пишет он в своих заметках, — в каком положении я находился. Ужасная скорбь и скука находили на меня каждый день. Мысль, что я лишился любимого мне города (Перми), может быть навсегда, ужасно давила мое сердце… Все любимое исчезло из моей памяти. Новый, чуждый город, новые лица, вещи, служба, *которую я не любил с самого детства,* все это сделало Екатеринбург для меня отвратительным».

Почти тотчас по приезде в Екатеринбург он подал прошение об определении его в уездный суд (28 июля 1859 года) и стал заниматься в этом суде с жалованьем по три рубля серебром в месяц.

Мелкая чиновничья среда, в которой пришлось жить Ф. М. не менее среды монастырской повредила его развитию. Мысль его должна была тратиться на понимание мелких чиновничьих интересов, дрязг, забот, словом всего «подьяческого» обихода, в то время, как известно, заплесневелого, затхлого. Мысли его стали волновать мелкие чиновничьи интриги, взятки, мелочные и беспрерывные огорчения и обиды. Как бы презрительно ни смотрел он на все это, но, как человек, поставленный в эту среду необходимостью иметь насущный кусок хлеба, он невольно

должен был проникаться ее интересами, должен был много терять от неразвитости и дикости новых товарищей.

Мы не приводим характеристик, которые делал Ф. М. своим многочисленным сослуживцам. Достаточно сказать, что все эти характеристики крайне для них нелестны.

Главным образом (как и в первых впечатлениях монастырской жизни) Решетников в своих новых сотоварищах был возмущен отсутствием понимания лежавших на них обязанностей. Как ни скучна была ему чиновничья жизнь, но в то же время он «гордился тем, что служит в таком месте, где решаются дела о людях», которым он может (как он полагал) сделать пользу, тогда как из канцелярских братии никто об этом и не думал.

Но покуда он переписывал бумаги, трудно было приносить пользу, и волей-неволей приходилось бессильно негодовать на грязь и плутни окружающей среды. Жил он в это время у своего воспитателя, которому отдавал получаемые три рубля, помещаясь на полатях, куда по временам дядя адресовал ему: «Я тебе, шельма! Что ты там не сидишь?» Но и сидя смирно, Ф. М. мог сколько угодно думать, читать все что попадалось, вспоминать прошлое и обсуждать настоящее, словом — быть до известной степени покойным, то есть «одним». Результатом этого одинокого сиденья в 1860 году явилась поэма в трех частях, в стихах, под названием— «Приговор». Поэма эта, написанная совершенно неудобными для чтения стихами, как нельзя лучше изображает беспомощное состояние дарования Решетникова, связанного по рукам и по ногам всеми одуряющими влияниями целых девятнадцати лет его прошлой жизни. Содержание этой поэмы таково. В уездном городе, описанном довольно подробно и хорошо, живет судья; в доме у него живут дворник и воспитанница, и все эти три лица, то есть судья, дворник и воспитанница, мрачны, скучны, угрюмы; а судья и дворник, кроме угрюмости, носят еще какую-то тайну в душе. Начало поэмы написано, очевидно, под влиянием последних, самых свежих впечатлений, вынесенных из знакомства с грязной чиновничьей жизнью, и потому герой поэмы, таинственный и молчаливый судья, является сначала простым взяточником, у которого на душе есть грешки и который очень хорошо знает, что есть так называемые ревизоры. Но, думает Ф. М., поэм на тему о взятках, и притом таких таинственных, какую начал он, никто из настоящих писателей не писывал, да и наказать взяточника, обирающего народ, просто ревизором ему, глубоко возмущенному господствовавшим в то время грабежом, кажется малым, и вот тут-то на помощь ему являются взгляды, вынесенные из

монастыря, вследствие чего выходит, что дом судьи потому так мрачен, что воспитанница, живущая у него и не знающая, кто ее отец, есть не воспитанница, а родная дочь, прижитая судьей с замужней женщиной, которая уже умерла. Этот грех мучает судью, со дня рождения дочери. Дворник потому мрачен и «вздрагивает, оставшись один», что он помогал судье спровадить беременную женщину (мать воспитанницы), вместо богомолья, в деревню, где она и родила. Все это — мораль монастырская, и, судя по окончанию этой поэмы, нельзя не сказать, что мораль эта сильно изувечила простоту и искренность мысли Ф. М. Конец поэмы такой: на судью, который запутан во взятках и в проступках против вышеупомянутой морали, автор насылает, во-первых, ревизора, во-вторых, в день появления ревизора сгорает дом судьи, подожженный дворником. Мучимый совестью, дворник решился сжечь место, где было столько обманов, и потом сам удавился в лесу. Судью разбивает паралич, и его отвозят в больницу. Воспитанница выходит замуж за штатного смотрителя, которого она давно любила, и перевозит судью к себе; последний, умирая, рассказывает ей (все с ужасом и необыкновенно длинно), что она его дочь, и речь era постоянно прерывается появлением бесов с вилами, крюками. За минуту до смерти является частный пристав, тащит судью в острог, но судья умирает. Во время похорон его поднимается страшная буря, гроб срывает с катафалка, судья вываливается. Но и этого все еще кажется мало: на могиле его потом постоянно видны две черные кошки.

Сам автор чувствовал, что все написанное им не совсем ладно. «Любезный читатель! — пишет он в предисловии к поэме. — Прежде всего прошу у вас полного внимания к каждому предмету, и потом терпения, потому что я наперед знаю нетерпение с вашей стороны. Несмотря на огромный объем поэмы, *вы найдете все ни к чему не годным».* Причину, побудившую его к написанию поэмы, он изображает в том же предисловии так:

> «Человек, любящий честность и правду, свидетель многих сцен в разных бытах человечества, может сказать что-нибудь о людях, достойных или похвалы, или порицания. Стыдно мне показать *«Приговор»* в настоящем его виде, теперь, когда я думаю об его переделке. А много, много, *должно быть,* и лишнего, чего я сам не могу приметить, думая, что все связано с предыдущим и последующим, поэтому-то я и прошу вас, читатель, быть снисходительным к *«Приговору»,* читая, делать заметки, подчеркивая те слова, которые не нужны, грубы, без

энергии и не обработаны рифмой, как это сделал один читатель в начале ее. Я прошу об этом читателя с истинным уважением. Судить умеет всякий без различия, и я буду очень рад послушать мнение всех моих читателей».

Но на это воззвание о нравственной помощи отзывов последовало очень мало. Один читатель подчеркнул два слова карандашом, другой написал сбоку: «Это что-то серьезное», а третий сделал весьма неопределенное замечание на словах. «К сожалению, — пишет Ф. М., — один читатель, прочитавши эту поэму, не сделал ни одной заметки, а только на словах сказал: *«в середине много лишку»,* а что именно лишнее, того не потрудился указать. Это очень досадно для меня. *Я бы рад был сказать ему благодарность, если бы он положил зачеркнуть все строчки поэмы, что было бы для меня легче, нежели его чтение про себя, без всяких для меня нужных заключений».* В конце поэмы он просит читателя *пожалеть*[6] его, если она плоха и если в ней много наврано.

Такой же характер трудной работы мысли носит и драма в *шести* действиях, написанная стихами (там же, на полатях), под названием — *«Панич»* (фамилия действующего лица), с тою только разницею, что здесь монастырским взглядам дано гораздо менее места, чем в *«Приговоре».* Герой поэмы — злодей, разбойник и убийца, сосланный за грабежи и разбои на каторгу, возвращается благополучно на родину, с целию добить остальных своих врагов, и потом столь же благополучно уходит назад.

И все-таки свободный угол на полатях сделал ему большую пользу. «Сидя смирно» в этом углу, Решетников получил возможность одуматься, прийти в себя. Хорошо уже и то, что он стал писать. Кроме упомянутых двух пьес, в письмах и дневнике его говорится еще о многих произведениях, которых мы не нашли в бумагах Решетникова и которые написаны все-таки здесь же, на полатях: «Черное озеро», «Деловые люди». Эти произведения, насколько можно судить по дневнику Решетникова, имеют уже чисто обличительный характер и относятся по времени к 1860 и началу 1861-го года.

Переход в новых произведениях к направлению чисто обличительному совершился в Решетникове под влиянием перемены должности. В 1860-м году его определили, в том же уездном суде, помощником столоначальника горнорабочего стола. Это обстоятельство сделало его более самостоятельным, чем прежде, и дало возможность, хотя отчасти, применить на деле собственные взгляды на службу, на важность обязанностей перед людьми, участь которых он теперь мог решать сам. «Мне

страшно казалось, — рассказывает Ф. М., — решать участь человека, и я стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал разные копии, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывал дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое».

Натолкнувшись при этих поисках на множество плутней, послуживших потом темою для вышеупомянутых обличительных произведений, Решетников в то же время пополнил свое знакомство с народом, узнав из этих канцелярских бумаг всю подневольность простого человека, всю зависимость этого человека от маленькой высшей власти, подобно тому как прежде в побегах, при личном знакомстве, на Каме, на заводе и даже в школе, где он учился и дружился с детьми этого же самого простого народа, он узнал его бедность и труд.

Таким образом, благодаря относительной свободе, приобретенной им на полатях и в перемене должности, в сознании Ф. М. начинает понемногу выступать совершенно ясная цель и потребность — приносить ближнему *пользу,* помощью другой, не менее сильной и настоятельной потребности — литературной деятельности. Сильное влияние относительно укрепления в Ф. М. этой потребности и необходимости *делать пользу* бедному человеку имел один мастеровой екатеринбургского монетного двора. Он очень любил Ф. М., знакомил его с бытом рабочего люда, советовал ему жить честно, не якшаться с пьянчужками и взяточниками. По мере того как в нем укреплялось сознание, что помощию своих писаний он может сделать кое-что *полезное,* уездный суд и Екатеринбург ему стали надоедать, и явилось желание (которое, впрочем, едва ли не было у него с первого дня приезда в этот город) переменить службу и жить в Перми: там можно читать книги, там у него школьные товарищи, там, наконец, та самая девушка, которою он два года тому назад «не хотел соблазняться», но которую теперь, опомнившись от монастырского чада, снова любил так, как любил, когда она была еще ребенком. И вот он задумывает перейти в Пермь.

К этому времени относится длинное письмо Ф. М. к своему дяде, на время командированному из Екатеринбурга в Кунгур. В этом письме Решетников высказывает своему воспитателю вещи, которых никогда бы, по его словам, «не сказал в лицо».

Вот отрывки из этого письма:

> «Простите меня, если я пишу вам огромное письмо; оно будет коротко (в сравнении) с тем, что я хотел бы написать, излив вам все мое чувство, что я чувствую

теперь, чего желаю, чего не сказал бы в лицо и что я в своем положении могу только написать…

Пишу вам то, чего вы не видели во мне, рассуждая обо мне людям напротив. В вас я более, чем в другом, вижу сторону рассудительности и потому хочу сказать то, что уже могу сказать. Я вижу в вас сторону добродушия, а иногда (может быть, и всегда) любовь отца.

Теперь я взрослый юноша и понимаю себя и других, и хоть не обучался в гордых салонах и не знаком с паркетами, однако могу по крайней мере писать не хуже других. А за это я должен отдать вам, любезный тятенька, справедливую благодарность и благодарить со слезами.

Вы знаете мою жизнь, как и я ныне ее узнал, и знаете, какое широкое поле горестей было в ней, сколько бедствий извлекалось из одного источника этого зла, и зло это — я. Но вы исцелили все это; теперь остается светлый путь впереди. Благодарю вас, благодарю…

Но посмотрим внимательнее на оставшееся семя этой горести и путь впереди.

Я освободился от несчастий посредством вас; направил себе дорогу к жизни вами, поступил в общество людей, себе равных по образованию, служу с ними и заслуживаю любовь. Это внешняя сторона. А внутренняя? Совсем не то! Во мне нет тех наклонностей, какие (были) до девятнадцатилетнего возраста, когда я был обуздываем другими и не обуздывал себя; (теперь) у меня обязанности, неся которые на себе, я должен оберегать собственность других, — это обязанность служебная.

Но проступки наши наносят нам порчу и гнетут всю нашу жизнь. Так и со мной. Освободившись от бедствий, находясь уже на службе, и *чего бы, кажется? всем доволен;* но когда вспомню прошедшее, то внутренно негодую на себя, за прежние годы, более за то, что они лишили меня, во-первых, вашей любви и, во-вторых, пути к просвещению, — *знать больше и все.* В этом единственно виновен я, и если бы знал, что я должен быть чиновником через шесть лет, то наверное на тринадцатилетнем возрасте не сделал бы того, чем теперь я душевно страдаю. Это другая сторона моей жизни. Я ею скучен при своем взгляде на вещи. В служебном отношении я чувствую еще более горечи. Во-

первых, мне скучно. Не знаю, отчего скучать молодому человеку, *огражденному всеми средствами довольства.* Многие смеются над тем, что расстаться с милым городом не беда, что в нем давно скучно, что лучше искать новых приключений, что это глупо… Все это, господа, я знаю, но кто может понять глубину (моего) расстройства? Во-вторых, я даже потерял всякую надежду на перемещение меня из Екатеринбурга в Пермь. Губернатор не был, да если и будет, то к нему не доступишься. Впрочем, я к доступам смел, ко он едва ли будет в наш город…

Потом, служа в суде, я кроме столоначальства никакой не вижу впереди карьеры. Я вполне понял службу уездного суда, и она давно мне наскучила. Мне желательно знать больше в других местах, служить в виду губернского начальства. В низшей инстанции не научишься доброму, кроме взяток, которые марают нашу честь и совесть. Итак, вот в каком положении я нахожусь. *Не знаю, как мне вырваться из этого хаоса!*

Далее, домашняя жизнь не очень красна. Я не виню ни вас, ни маменьки, зная, что всему виной я, но я давно исправился, и, кажется, можно (меня) полюбить. Не думайте, что я молчалив, то значит горд… Веселость моя исчезла вместе с горем, постигшим очень рано… Я уважаю и люблю вполне обоих вас, и не рассчитывайте на мое молчание, звуки голоса [7] и не печальтесь этим. Верьте, я с вами не расстанусь, пока (живу) в Екатеринбурге, и если по вашему ходатайству я буду в Перми служить, то, поверьте, я никогда не забуду вас. Это моя верная и искренняя любовь, которой вы можете несомненно верить, и я ее сохраню до гроба».

Письмо это переполнено самыми нежными излияниями и признаниями в любви, обращенными к дяде и тетке в стихах и прозе. Несмотря на общий грустный тон письма, в конце его у Решетникова вдруг вырывается наружу целый поток самых живых, веселых желаний. Как будто забыв суровость своего дяди, который вообще не любил этих длинных разглагольствований, он начинает его расспрашивать, как живет такой-то дедушка, как живет его семейство, подросли ли и хороши ли собой какие-то девушки, которые живут в Кунгуре и которых он с детства знал маленькими. «Теперь, — пишет он, — я думаю, они уже большие или замужем, особенно та, которая в наших детских играх била меня, конечно в шутку, по лицу. Напишите имена всех их. Что эти

девушки, умны или глупы? Я думаю, вы взглядом можете отличить доброту и невинность, которая пленяет, ласкает собою человека… Ту прелестную улыбку, которая придает окраску хорошо сложенной голове, талии».

Таких задушевных, сердечных писем, в которых, помимо уяснения собственной личности, Решетников хлопотал о том, чтобы склонить дядю на согласие отпустить его в Пермь, таких писем, судя по количеству ответов на них, должно быть было написано немало. Но успех этих посланий, повидимому, был невелик, так как ответы на них были примерно такого рода:

> «Неужели я-то думал, давая тебе по своей силе и возможности учение и образование, получить от тебя благодарность, только излитую пером на бумаге, а не в лице моем и твоей тетки, которая нянчилась с тобою, оставляя все прочие попечения, и оба хотели нажить себе под старость утешение и замену в покойной жизни? А видим, что наклонность твоя явственно, как в письмах, так и лично, нам говорит, есть от нас удалиться. Впрочем, и я принимал старания о приискании тебе должности в Перми, но всему делается препятствие; видно, так угодно всевышнему. Прими себе в соображение, что неужели бы ты получил себе воспитание, если бы были живы твои родители? Право, это никак бы не могло случиться. Вот пример: посмотри в Тагиле на сына твоего дяди Алексея, коего он так хорошо воспитал, что и писать вовсе не умеет, и ко мне же преклонил голову, чтобы не сделать его прописным. Теперь он в поте лица трудится, тяжелою черною работою снискивает себе кусок хлеба и вдобавок еще оплачивает за себя подати и разные повинности. А ты у меня от этого ига и бремя изъят да еще жалуешься на провидение всевышнего и судьбу и на то самое, что тебе дал я образование в низшем учебном заведении. Я не ладил и даже не желал *сделать из тебя поэта или какого-нибудь дурака,* а всегда старался сделать из тебя умного и образованного человека. Сознайся, не правду ли я теперь тебе пишу дрожащею своею рукою, которая, может быть, столько на свете перевела чернил и бумаги, что я сообразить теперь себе не могу! А для кого именно? Ведь в том числе есть и на твое воспитание и учение. Тоже и это все уносило мое здоровье и сокращало жизнь мою, но я на то не ропщу, а прославляю бога, что он во всем этом мне помог!»

Такие письма, искренность которых Ф. М. никак не мог заподозрить, потому что хорошо знал, что дядя говорит сущую правду, что он действительно обманулся в своем воспитаннике и искренно огорчен этим, производили на Решетникова впечатление глубоко тягостное. Но несмотря на это, он никак не мог расстаться со своими мечтами и желаниями; они были точно так же искренни, как и огорчения дяди. Долгое время каждый из них отстаивал себя и свои взгляды, но, наконец, дядя понемногу начал сдаваться и уступать. Видя, что племянник продолжает еще прилежнее сидеть над своими сочинениями, он стал задумываться над этим несокрушимым постоянством, как будто начинал верить, что это племянник делает неспроста. Он уже не говорил ему — «какую черную немочь пишешь?», как говаривал это год тому назад, а кротко замечал: «Смотри, парень, как бы тебе не было худо». Мало-помалу дядя до того озаботился этими непрестанными писаниями своего племянника, что решился пригласить и угостить какого-то местного литератора, лишь бы тот принял участие в угрюмом и мучающемся юноше, посоветовал бы ему, как сочинять. Сочинитель не посоветовал ничего хорошего, напротив, через несколько времени дядя узнал, что сочинитель, несмотря на угощение, задумал всех их, то есть и дядю, и его жену, и самого Ф. М., описать в газетах. Это сильно разозлило дядю, он вновь вознегодовал на сочинительство племянника и однажды сгоряча «засветил ему оплеуху».

VII

Почти целый год тянулась эта борьба племянника с дядей; наконец в первой половине 1861 года Федору Михайловичу удалось взять из уездного суда отпуск и уехать в любимую им Пермь, на которую он смотрел как на обетованную землю. Он надеялся отыскать здесь хорошее место, с жалованьем, которое даст ему возможность не нуждаться, с занятиями, от которых будет оставаться свободное время; это свободное время он надеялся посвятить ученью и сочинительству; кроме того, в Перми он рассчитывал найти строгих и понимающих литературное дело судей, которые бы дали ему благой совет, вывели его «из хаоса», в котором блуждали его беспомощная мысль и неопределившаяся сила.

Но Пермь на первых же порах плохо ответила этим надеждам.

По приезде в Пермь он поселился на квартире у какого-то родственника, отставного чиновника, и стал хлопотать прежде всего о месте.

До какой степени эти хлопоты, этот первый шаг к осуществлению заветных мечтаний, были трудны и утомительны, можно судить из того, что через два месяца по приезде в Пермь Ф. М. пишет в своем дневнике следующее: «Милый мне в Екатеринбурге губернский город стал теперь постылым». Мелкий канцелярский служитель, застенчивый, молчаливый и притом без всякой протекции, он в течение этих двух месяцев с раннего утра терся без всякого толку в передних начальников разных канцелярий, испытывая на каждом шагу унижение от той же самой канцелярской бедноты, которая позволяла себе смотреть на него свысока, потому что была мелкота «губернская». Обширный дневник Ф. М. на громадном количестве страниц переполнен описаниями этих мучительных скитальчеств по передним, вроде следующего:

> «Целый час я дожидался, пока отворят двери (в квартире председателя палаты государственных имуществ), и целый час ходил от одних дверей к другим, прося лакея отворить двери к его высокородию, но лакей говорил: «подождите!» Везде эта дьявольская фамильярность лакеев, чуть если видят — человек не чиновный, то и думают: «Чорт тебя бей! Не великая ты штука, подождешь, а мне все-таки любо смотреть, как я себя тешу, как ты поклоняешься мне!» А ты стоишь да думаешь: «Ишь ты как заважничался, собака этакой!» Но

что ни говори сам с собой, а все-таки ждешь да ждешь — и, наконец, думаешь: «пожалуй, придется воротиться назад домой!» Однако досадно… Лакей не пускает, а барин забился *в* кабинет, бреется поди еще или пьет чай, как наш губернатор, целый час один стакан. Вот мука!»

Или вот другой отрывок:

«20 мая 1861 года. С рассветом мне представилось двадцатое число. Сегодняшний день был последним днем моего отпуска. Я ужаснулся тому, что я еще в Перми и никуда не определился. А между тем сколько было трудов и хлопот об этом переводе. В Екатеринбурге я надеялся на отпуск как на отдохновение. Но здесь пришлось не до отдыха; постоянные заботы, ходьба к знаменитым лицам (надежда моих мыслей), отказы этих лиц со всеми неприятностями к моей личности и, наконец, бедственная известность об моей прежней подсудности, спавшей четыре года и проснувшейся вдруг, при моей просьбе о переводе, — подсудность, теперь вполне известная в Екатеринбурге, — все это ужасно сравнительно со всеми неприятностями службы в суде (уездном), где если и слышали о моей подсудности, но не верили. Это воспоминание надолго будет в моей голове, и надолго я должен стыдиться как товарищей моих по училищу, служивших в губернском правлении, так и товарищей по службе в уездном суде.

Но срок кончился, и мне надо ехать обратно или подавать просьбу в казенную палату. Что если суд (екатеринбургский) за просрочку поступит со мной по закону из недоброжелательности ко мне?»

Недоброжелательность суда, о которой упоминает Решетников в приведенном отрывке, возбудилась после его отъезда в Пермь по следующему обстоятельству. Мы уже упоминали об одном его произведении, под названием «Черное озеро»; это произведение было послано Ф. М. в Пермь, в редакцию «Пермских губернских ведомостей»; но там его не поместили, и в отсутствие Решетникова из Екатеринбурга произведение это пришло назад, в тот же самый уездный суд, который, вероятно, узнал себя в этом произведении и вознегодовал, и потому, быть может, вслед за этим в Перми узнали о подсудности Ф. М. Это известие свалилось совершенно неожиданно. Он ходил в это время в канцелярию уголовной палаты и занимался уже там, хотя и без жалованья, как вдруг однажды один из его «врагов»

(которые совершенно непонятным образом окружали в одно мгновенье всякого новичка, едва показавшего нос в мелкую чиновничью среду) явился в эту канцелярию и торжественно объявил всем сослуживцам тайну Ф. М. В описаниях своих встреч с людьми Решетников никогда не делал резких, необдуманных приговоров; никогда не поддавался личному ощущению, особливо негодованию, беспристрастно изображая вместе с дурными и хорошие черты встретившегося ему лица; но последнее происшествие, должно быть, так сильно потрясло его, что он не выдержал своего хладнокровия.

> «Один раз, — пишет он в дневнике, — прибежал к нам в правление Г-н, эта шельма в белых брюках и жилете, как дьявол. Секретаря не было. Забежал в присутствие с докладной (Решетникова) запиской и кричит: «Вот какие люди к нам просятся. Смеют они проситься! Где секретарь? Пусть он выведет на справку его подсудность». И вывели подсудность без всяких постановлений!»

К этому огорчению, заставившему Ф. М. оставить службу в уголовной палате, присоединились и огорчения от воспитателя его, который в письмах своих из Екатеринбурга продолжал доказывать, что мысль племянника служить в губернском городе и сочинять — мысль глупая и, кроме вреда, ничего последнему не принесет. На его жалобы относительно трудности достать место и на разные оскорбления, которые приходится терпеть во время этих исканий, он пишет:

> «Ты бы должен принимать за благо уже и то, как с тобою обошлись председатели (таких-то и таких-то палат) … Знай, что казенные должности ныне ужасно дороги, и я не советую тебе волонтерствовать из одного места в другое. Ведь волонтерство и ораторство ныне, право, мало в ходу; найдется несколько тысяч народа во сто раз ученее и умнее нас, (которые) тебе все-таки прямо скажут: «Мальчишка и даже болтун, помолчи».

И вслед за тем, не более как через два дня:

> «Что же делать (что дела Ф. М. идут плохо), потерпи и перенеси с мое. Я вполне уверен, что тебя на половину века моего недостанет, потому что *поэзия твоя для жизни служит вредом*… Я даю тебе совет, — с начальниками и старшими себе будь — уважительнее и

почитай их, а с товарищами будь развязнее. Если так же будешь обходиться в Перми, как жил в Екатеринбурге, то и там тебя не будут любить и уважать, и через это ты будешь несчастлив. Прощай — и много писем от меня не ожидай. Я принял тебя сорока недель, какие средства мне позволяли, по возможности, все тебе доставил. Не ходил к родным помощи просить для твоего пропитания. Прощай».

В дневнике Ф. М., соответственно числу этого письма, помещено следующее:

«…Поэзия моя будто бы только вредит… Не знаю! Но если я пишу, то чувствую отраду… Я тогда спокоен и весел… Я пишу, не надеясь на барыши… Когда я умру, то пусть меня читают, судят, ругают… Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть всякий поймет меня и мою жизнь, которую я испытал во всех видах… Что же делать, если я необразован, неотесан, груб, невежа, грубиян, забияка! Но что же делать, если неправда у нас ввелась уже в форму, люди сделались гордыми, своенравными… Остается только плакать. Молиться о них (о людях) не будет никакой *пользы».*

В этом отрывке Ф. М., несмотря на множество разного рода неприятностей, все еще стоит за свое дело, за свое писанье; но история с «Черным озером» и последовавшее за ним открытие подсудности до того потрясли его, что он как бы потерял и последнюю надежду на себя и свои литературные труды.

Воспитатель написал ему громовое письмо.

Вот отрывки из него:

«Я виделся с А. С. (сослуживец Ф. М. по екатеринбургскому уездному суду), который мне объявил, что на Докладную твою записку получено в полиции (уведомление), что по случаю подсудности твоей ты не можешь быть перемещен… Вдобавок А. С. сказал мне, что ты составил сочинение о «Грязном или Черном озере», где ты описал много поступков *губернских* начальников, за что тебя, эдакого поэта, даже вызывали через припечатание в газетах»… [8]*«Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как не к погибели человеческой.* Напрасно строишь ты воздушные замки, которых нам состареться, а не видать; а этими

неприятностями сокращались дни моей жизни. Неужели я с тою целию учил тебя, воспитал и определил на службу, чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником на начальников? Поэтому еще нахожу средство последнее: окопировать тебя и не желать себе более поэтов из племянников».

Это письмо, вместе с катастрофой в уголовной палате (когда г. Г-н объявил о подсудности), письмо, полученное Ф. М. дня через два после происшествия, когда он еще не успел опомниться и прийти в себя, совершенно обессилило его.

Выписав подчеркнутые слова, он пишет в дневнике: «Поистине это правда… и подобные сочинения могут хоть какого отца огорчить и опечалить! Дурак Г — н! Пусть это имя клеймит его!.. Это письмо так поразило меня, что я весь день был в каком-то горе и печали… Даже у обедни, где служил архиерей, мысли мои блуждали по сторонам «Черного озера», готовили письмо оправдания дяде, рисовали образы бедных любимых моих тятеньки и маменьки! (О, как я их люблю! Скучно без них.) В этой катастрофе я часто забывал о службе, и только громкое и хорошее пение здешних певчих выводило меня из этого хаоса моих мыслей».

Несмотря на огорченья, возвратиться в Екатеринбург, о чем не раз приходило Ф. М. в голову, было невозможно: одна мысль о возможности опять очутиться на полатях ужасала его, и волей-неволей он опять отправлялся искать места, и везде вслед за ним шла его под-судимость. Из уголовной палаты она перешла по следам его в казенную, куда он уже подал прошение об определении, занимался там в канцелярии и ждал этого определения со дня на день.

Долго, утомительно долго тянутся эти хлопоты, эти беспрерывные отказы, это убийственное равнодушие, пустые, но мучительные придирки.

Наконец, после всевозможных мучений, Решетников пишет в своем дневнике следующее:

«10 июня 1861 года. Слава богу, я определился. 9 числа об определении моем записали в книгу, касающуюся по службы канцелярских служителей казенной палаты, и вчера просмотрел прокурор. Наконец мои многолетние желания исполнились, и я, с помощию божиею, определен в казенную палату по канцелярии. Один только бог был моим ходатаем. Ходатаем потому, что заступничеством его я, несмотря на все несчастия со мной, сколько враги мои ни старались не дать мне ходу

> по службе и самый доступ к лицам палаты, — он руководил теперешним моим переводом, вразумляя их о моем принятии. Эту руку милосердия его я признаю! благодарю его своей ничтожною верою в него и верую с надеждою на будущее его покровительство, что все это он делает к лучшему. Я восторгаюсь его благодеяниями и плачу от восторга, от тесноты чувств, вспоминая его ко мне милости»

Из этого отрывка видно, до чего измучился и исстрадался Решетников и с каким восторгом приветствует он пристанище, добытое такими трудами. В довершение его восторга даже воспитатель его, в ответ на извещение об определении, написал ласковое и радостное письмо, в котором между прочим говорится: «Наконец, поздравляю тебя с переменою службы; как ты желал, чтобы тебе быть и служить в Перми, — то и исполнилось. Но, *пожалуйста, поэзию свою оставь; она не совсем у места; и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и с разбором каждое слово надобно одумавши вставить, так чтобы остатков от него не было.* Советую тебе заботиться о службе и уважать старших себе, на развратных людей не гляди, горячих напитков убегай и будь во всем вежлив и обходителен, тогда и тебя будут все любить и уважать. Одежу береги; на помощь мою не надейся, ты знаешь, что я тебя обучил» — и т. д.

Какую же собственно благодать приветствовали и Ф. М. и его родственники (есть письма других родственников), и чего же добился Ф. М. после стольких трудов и беспокойств?

Очень и очень немногого. «Меня посадили, — пишет Решетников, — в регистратуру. Вся моя работа не умственная, а машинная, состоит в записывании входящих бумаг, надписках на конвертах, отправляемых из палаты, и печатании их. Эта работа обременительна одному, и при получении пяти или шести рублей жалованья кажется вдвойне обременительной. Для ума же никакой нет пищи».

В конце того же июня месяца того же 1861 года он пишет: «За июнь месяц я получил пять рублей серебром. Это неутешительно. Худо то, что работа машинная и не требует никакого ума». Наконец, в одной из последующих страниц своего дневника, он определяет свое положение одним, но весьма веским словом — «мука». «Думал было ехать в Екатеринбург, чтобы наглядеться на него, порыбачить. Но меня не пустили из канцелярии…» Все эти несчастные пять рублей он отдавал своему родственнику за стол и квартиру, оставляя себе несколько копеек на табак, который он курил постоянно. На книги, которых он так жаждал, у него не

оставалось ни копейки, хотя в той же самой казенной палате была библиотека, где книги отпускались для чтения с платою один рубль серебром в год. Этот необходимый рубль Ф. М. приобрел, послужив еще месяц, за который ему заплатили шесть рублей. Жизнь его тянулась вяло, скучно.

> «В палате мы сидим до четвертого часу и выходим только тогда, когда выходит председатель. Придешь домой, разумеется, после шестичасового сиденья устанешь, и, как отобедаешь, невольно клонит тебя ко сну. Ляжешь и пробудишься часу в шестом. Тут чай и опять тягость. Сядешь у окна и думаешь, — что бы делать? Писать. И лишь станешь обдумывать, явится дедушка (так Ф. М. называл своего хозяина-родственника), начнет рассказ, или супруга его заведет с ним какую-нибудь сцену, невольно принужден будешь слушать и прослушать до десятого часу, а там темнота. Надо заметить, что если дедушка начнет рассказывать, то вступлениям нет конца. Скучно слушать иной его рассказ, но должно слушать, не огорчая старика. Старик этот великодушен, и таких милых характеров редко где можно найти. Со мною он добр до бесконечности, что видно из его ко мне расположения и ласк. Не знаю, что он чувствует внутренно, я (с своей стороны) всегда могу сказать ему: «О добрый дедушка, лучше тебя я еще не находил людей! Только одно мне неприятно, что он смеется над моими сочинениями и *советует их бросить совсем.* По его понятиям, я непременно должен сойти с ума. Я ложусь спать в двенадцать часов, а до этого времени хожу в нашем садике. Несмотря на тесноту (садика), я вечером хожу из угла в угол по маленькой тропинке, сделанной мною, или сижу на железном ведре. Любя уединение, я доволен и этою скучною, простою природою… В уединении душа настраивается, сердце бьется сильнее, самому кажется легче и свободнее, и в этой тишине, прерываемой разговорами соседей или бранью, ум работает и углубляется в беспредельное высшее; и во всем этом не чувствуешь утомления; когда же очнешься от этих фантазий, то чувствуешь силу сверхъестественную, силу поэзии, и тут непременно подумаешь, зачем не имеешь тех средств, которыми бы можно было жить, сведя концы с концами; теперь же, получая жалованья шесть рублей, едва находишь в ящике какие-нибудь несколько копеек… А что подумать о

платье, о будущем? Дрянь ты как есть и живешь не лучше нищего! Невольно приходит мысль, зачем я способен и зачем в голову идут идеи и не дают покою? Все-таки у меня надежда на бога. Пусть он делает, как знает и как его святой воле нужно… Утром в пять часов я опять хожу по палисаднику, хотя есть одна неприятность — это роса, от которой мочатся сапоги и халат, но зато я хожу собственно уже для своего здоровья… Так и идет время… Если не слушаю рассказов дедушки, когда он молчалив и грустен, то читаю книги, книжонки и «Московские ведомости», полученные недели три тому назад… От скуки рад заняться чем-нибудь».

Это однообразное времяпрепровождение изредка разнообразилось прогулками далеко за город за грибами или на любимую Ф. М. Мотовилиху, в которой он узнал всю подноготную жизни заводского рабочего; прогулки эти сопровождались разными встречами и рассказами, которые Ф. М. описывает с обычною ему обстоятельностию и которые еще более обогащали его знанием жизни. Посещал он также своих знакомых, старых товарищей по Училищу, сделавшихся чиновниками, и новых сослуживцев, и тоже подробно описывал эти посещения и встречи. Каждого встречавшегося ему человека он изображал в своем дневнике с полным беспристрастием, с полною любовью только к правде, инстинктивно боясь упустить какую-нибудь крошечную черточку. Но эта черта его ума, неизгладимо врезанная в него обстоятельствами жизни в период самого раннего детства, черта, которая была у него еще тогда, когда ему было десять или двенадцать лет от роду, оставалась и до настоящего времени в той же силе, как была и в детстве. И тогда, прощая своих врагов, он умел уже относиться к людям так, как относился теперь. Десять лет, которые прожил с тех пор Ф. М. — в монастыре, в Перми и в Екатеринбурге, — не только бы не оплодотворили ее знанием, но, напротив, как уже видели мы, постоянно искажали ее, заваливая разным хламом, из-под которого ей стоило великих трудов выбраться опять на божий свет.

Как видим теперь, не много помогла и Пермь.

Материального благосостояния, при котором он мог бы сводить «концы с концами», он не имел, и в этом отношении ему было даже хуже здесь, в Перми, чем на полатях в Екатеринбурге. Служба, от которой он всегда хотел научиться чему-нибудь, была самая мертвая, не дававшая никакой пищи уму, и, наконец, «знать все» или хоть что-нибудь, — что собственно и нужно было ему, —

на рубль серебром в год было едва ли возможно. Мечтания о «беспредельном высшем», которые могли быть определены и уяснены одним только знанием, продолжали попрежнему бесплодно волновать его мысль, мешая простому и сердечному взгляду на жизнь и на людей, который, как мы уже сказали выше, был у него и десяти лет отроду, был и теперь. Ничто с десяти лет в сущности не подвинулось в его развитии; ничто существенным образом не успело испариться даже из того, что забило и затормозило его развитие. Так, например, поэму свою *«Приговор»* он и теперь, будучи в Перми, считает чем-то, о чем можно долго думать, советоваться; это показывает, что в эту пору он не отделался еще окончательно от странной морали, вложенной в— нее.

Несчастливилось ему также и насчет руководителей, которых он искал с терпением и настойчивостию ничуть не меньшими тех, какие обнаружил он в необходимости найти место и кусок хлеба.

Необходимость узнать самого себя была также ничуть *Н* е меньшая. «Напишу И. К. П., — пишет он в дневнике, — объясню ему свое положение (относительно жажды литературной деятельности) и попрошу его прочитать мое сочинение и сделать на него строгую критику, а более всего сказать: могу ли я сочинять прозой или стихами?» П-в, бывший учитель Ф. М. в уездном училище и теперь служивший в одной с ним казенной палате, охотно согласился прочесть произведение своего питомца, причем написал в ответ на его письмо следующую записку:

> «Извините, что я несколько замедлил ответом на ваше письмо. Благодарю вас за старую обо мне память и за то доверие, с которым вы высказываете предо мной свои глубокие думы. Я с удовольствием готов прочитать ваши сочинения, но считаю в этом случае нужным предупредить вас, что мой суд, как суд очень обыкновенного человека, не должен быть для вас путеводною звездою. Относительно внешней отделки я еще могу быть полезен вам, что же касается до внутреннего построения, то здесь всякое стороннее влияние потребует переделки, а это излишний расход на труды, часто приходящиеся не по сердцу автору. Н. П.».

> «…Слава богу! — восклицает Ф. М., — я получил от П. письмо; теперь остается только отдать ему сочинение».

Сочинение это было — «Деловые люди», о котором, к

несчастию, мы не знаем ничего, кроме того, что это произведение было обличительного характера. [9] В то же время другое его произведение, «Приговор», он отдал на суд сослуживцу М., «который, — пишет Решетников, — очень дружен со мной, заметно любит меня, *зовет постоянно курить* и непременно что-нибудь расскажет о своей прошлой жизни или о палатской службе. Вот почему я и решился отдать ему прочитать «Приговор»… М-в похвалил поэму, сказал, что она ему понравилась, но что «надо убавить, много лишнего».

Отзыв П-ва о «Деловых людях» был более обстоятелен и произвел на Ф. М. более благоприятное впечатление. Он сказал, что «прочитал и собирается написать рецензию, но все некогда…» «Написано, говорит, порядочно, и высказывал свои заметки… Советует ее (комедию) положить пока, для того чтобы созрели мысли, и продолжать свое образование, пописывая что-нибудь… Советует писать лучше прозой… Впрочем, говорит, написана недурно, а все-таки надо продолжать свое образование. Советует написать какую-нибудь статейку и послать в редакцию. Слава богу! — думал я, — один человек подал мне добрый совет в мою пользу. Теперь покажу ему другое сочинение, хоть «Приговор».

Совет был действительно добрый, но, к несчастию Ф. М., П-в, который даже и такими советами сделал бы для него несомненную пользу, очень скоро оставил службу в казенной палате и переехал в другой город.

Ф. М. глубоко сожалел об этом.

По отъезде П-ва он снова стал обращаться за советом к кому попало и иной раз попадал в ужасный просак.

В такой просак попал он, отдав свое сочинение председателю.

> «Каюсь, — пишет он в августе 1861 года, — что отдал ему (председателю) мое сочинение «Деловые люди». Цель моя была та, что, во-первых, он обещался убавить жалованье, во-вторых, он, как умный человек, быть может, обратит на меня внимание и подаст благой совет. Поэтому я написал ему письмо, похвалил его за библиотеку, как за благодетельную меру для служащих, выставил свое бедственное положение, просил прочитать мои сочинения, из которых одно принес с собой, и, если можно, (просил) прибавить мне жалованья. К этому же меня понудило и то, что я сбираюсь искать другую квартиру. Двенадцатого числа дедушка, бывши выпивши и *наскучив видеть, как я пишу сочинения, велел мне искать другую квартиру*. Четырнадцатого числа я был у председателя и ждал, его целых два часа. Он ходил на

дворе, играл с собаками и смотрел в амбаре свои вещи, которые он продает, надеясь скоро уехать. Увидав меня, он спросил, что мне нужно? Я подал ему свое письмо. Он прочитал и сказал: «Мне, батюшка, некогда читать, я собираюсь в церковь, и вам советую тоже идти. Ступайте!» — и он поворотил меня. Я повторил ему свою просьбу на словах. «Мне некогда читать, — сказал он опять. — Я лучше вам советую заниматься, чем сочинять. Занимались бы больше в палате».

Кое-как Решетников настоял-таки на том, что председатель взял его сочинение и обещал передать его для просмотра редактору «Губернских ведомостей» П-ну. Председатель приказал ему зайти за ответом через несколько дней, но когда в назначенный день Ф. М. явился к нему, то председатель сказал:

— Что вам нужно? Решетников сказал.

— Мне некогда! — ответил председатель. — Вы видите — я занимаюсь? Ступайте к обедне… Я сам принесу (сочинение), — и не велел приходить. «Дурак же я, — говорит Ф. М., — что отдал ему мое сочинение. Теперь он не только будет смеяться надо мной, но еще не обратит никакого внимания на мое бедственное положение. Пожалуй, еще и за этот месяц даст только пять рублей».

Возвращая через несколько дней комедию вместе с письмом, при котором была она доставлена Решетниковым, председатель сказал:

— Вы какие-то кляузы написали? Тут какая-то женщина учит мужа? Вам надо выбрать одно из двух: или сочинять, или служить.

Ф. М. всеми возможными способами старался скрыть от своих сослуживцев как свою просьбу к председателю, так и его суждения о его произведениях, но сослуживцы узнали — и Решетников опять убит и огорчен.

> «Ужасно тяжело мне было в этот день (день возвращения председателем рукописи). Сцена в палате (с председателем) мне и вечером почти не давала покоя. То слышались слова председателя: «кляузы», то недоверчивость служащих. Все вышло дрянь! Все говорят, что я глупец и больше ничего, да еще хочу выиграть перед начальством. Ах, если бы деньги! бросил бы я эту службу и все эти связи с служащим миром».

Вот какие были судьи и руководители Ф. М., которых он так желал и на которых так надеялся. В течение года он услышал

одно доброе слово от г. П-ва, а этот год был *двадцатый* в его жизни, и его не могла не угнетать мысль, что года эти проходят бесследно и дают ему одни только страдания.

Вот какими строками в своем дневнике заканчивает он этот год:

> «Сегодня, 5 сентября 1861 года, я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти двадцать лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений… Кроме горя — ничего не было. Дай бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них (сочинений) дельному, не для себя только, но и для. пользы нашего русского народа. Дай бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами, а жить, веря в провидение, и так, как бог велит».

VIII

Так прошел 1861 год.

В течение следующего, 1862 года, материальная обстановка Ф. М, повидимому, стала еще хуже. С переходом на новую квартиру, к «чужим людям», получаемое им жалованье оказалось в высшей степени ничтожным. Вот его бюджет на новой квартире: «за квартиру — один рубль пятьдесят копеек. На говядину, тридцать фунтов по три копейки серебром за фунт — девяносто копеек. Хлеба на шестьдесят копеек и молока на шестьдесят копеек… Буду жить как бог велит».

> «Служба становится трудная, — пишет он через месяц после вышеприведенной выписки, — сижу в палате до четырех часов, обедаю почти в шестом, да еще дома занимаюсь палатскими делами. А все за семь рублей. Дядя А-н писал мне: «Что за философия, что жалованья мало, я и женатый получал по три рубля, да жил же как-то». Поживи-ко ныне, попробуй! Впрочем, я доволен тем, что из семи рублей у меня остается два с половиной рубля в месяц. *Зато я не ем уже ничего мясного».*

Не представляя никаких существенных перемен к лучшему в материальном отношении, 1862 год был для Ф. М. весьма полезен в отношении нравственном. В течение этого года ему удалось-таки найти двух весьма хороших критиков: одним из них была любовь.

Как и в прошлом году, продолжая в свободное от занятий время посещать своих старых знакомых и товарищей, Ф. М. однажды вздумал пойти в семейство той девушки, о которой мы раз уже упоминали по возвращении ф. М. из ссылки, когда он «не хотел соблазняться примерами женщин».

Девушка эта жила с старушкой матерью довольно бедно, зарабатывая деньги шитьем на гостиный двор и занимая каморку. И мать и дочь обрадовались Ф. М. Он просидел у них целый вечер и, воротившись, пишет:

> «Не знаю почему, а она (девушка) мне понравилась, в ней видна была робость, когда она глядела на меня, и если что говорила, то голос ее дрожал. Она ни о чем меня не спрашивала. Я долго любовался ее темнокаштановыми волосами, обвитыми вокруг

маленькой головки, вспоминая время, когда она, бывало (в детстве), расплетала их и чесала. В простом сереньком платьице она казалась безукоризненно хороша.

В моей памяти мелькнули слова наших родителей, обещавшихся (в детстве) соединить нас навеки, от чего я тогда отстранялся… Я ужаснулся своего прошедшего. Зачем я дичился девушки, зачем ненавидел ее за ее длинные волосы, большие глаза?.. Мне сильно хотелось поговорить с нею наедине, но где и как, это трудно определить… И теперь, оканчивая записки, я вижу перед собой ее милый образ…»

С этих пор всякая новая встреча с этой девушкой, как бы они ни были редки и молчаливы, все более и более укрепляет в сердце Ф. М. любовь к ней.

«Она мне еще больше понравилась, — пишет он после следующей встречи, — я начинаю на нее теперь поглядывать не шутя, и, кажется, я люблю ее…

…Я начинаю любить ее… Я ежедневно больше и больше думаю о ней…

…Вот уже двадцать дней, как я не видал ее; боже мой, как я измучился в первые дни, на первой неделе поста. Мне так и хотелось ее увидеть, отдать ей письмо, написанное стихами, в котором я объяснял, почему я прежде казался ей гордым, почему ныне стал чувствовать к ней влечение и что, несмотря на прежнее горе, я все-таки любил ее, хоть и молчал об этом. Часто-часто из Екатеринбурга я переносился мыслью в их хижину, часто мне казалось, как бы хорошо полюбить ее …»

Очень скоро, при содействии матери любимой девушки, дело любви было поставлено на практическую почву, и возник вопрос о женитьбе. При необыкновенно однообразных и утомительных занятиях, при сильном отвращении к образу жизни своих сослуживцев, таскавшихся по трактирам, женитьба на любимой девушке могла бы казаться Ф. М. необыкновенным счастием, нравственным отдыхом, и он наверное бы не устоял против этого счастия, если б в нем давно уже сильно и прочно не был вкоренен страх — опрометчиво решать «участь людей»… Жениться, взять девушку и, вместе с тем, взять на себя все ее будущее — это казалось Ф. М. делом весьма серьезным. Потребность обсудить это дело основательно, беспристрастно, рассмотреть его со всех сторон, вновь воскресила в нем опять-таки ту же черту «правды», которая до настоящего времени продолжала теряться в мечтаниях

о «беспредельном высшем», «сверхъестественном», в котором критики Ф. М. хоть и находили много «лишку», но все-таки хвалили и за эти «сверхъестественные» мысли.

Любовь и мысль об участи любимой девушки отстранили весь этот хлам на задний план. И надо удивляться нравственной силе Ф. М, с которою он обуздывает свою страсть, чтобы правдиво всмотреться в нее, в ее будущее, не церемонясь ни с собой, ни с предметом своей любви.

28 мая 1862 года он между прочим пишет:

> «-Я согласна (сказала мать девушки)… Я поговорю… Приходите завтра.
>
> Великий господи!.. Постой! Постой! Дай опомниться! Я дома теперь. Не мешай, пожалуйста, В. М. (сосед по квартире)! Ты уж больно выпил: кричишь, поешь, плачешь… Хорошо тебе, ты уже женат, живешь с женой как живется, не чувствуешь сердечной тревоги. А я? Зачем как будто я не люблю ее? А как она прекрасна, мила! Два раза уговаривала остаться посидеть… как горячо, крепко пожала мне руку на прощанье! Зачем я не отдал ей письмо? Нет, я не пойду завтра! Я не хочу, чтобы мать сама устроила нас… Нет, я сам узнаю ее! Что мне в ее красоте?..»

Через несколько дней Решетников продолжает:

> «Дай наперед посмотрю на нее как знаю… Она езва. В ее молчании заметно развитие… Из рассказов матери я заключил, что она успела воспитаться сама собой иначе зачем бы ей пришла мысль идти в монастырь? Может быть, она только начинает любить меня. И вдруг слово о браке может удивить ее. Нет, ей не нужно говорить о браке. Ей скучно становится, если мать ее станет вспоминать мое детство. Ей надоело мое прошлое. Ей необходимо говорить со мной… Может быть, она ненавидит меня?.. Что за сватовство?.. И к чему оно? Я хочу только любить… может, все изменится. Прав ли я, или нет? Сам не знаю. Что нужды! Пусть мы будем жених и невеста, пусть! Нам тогда будет свобода в разговорах. Что-то я, право, рехнулся совсем. Но она красива; я люблю ее… Но так ли я ее люблю, настоящею ли любовью? Нет! кажется, я мало люблю ее… Я только увлекаюсь ею. Я хочу ее любить истинной любовью… видеть в ней постоянного, настоящего друга… Я хочу, чтобы и она во мне видела такого же друга, чтобы нам не

роптать… Пусть подумает. Через неделю я схожу, а теперь пусть подумает. За шитьем в молчании много можно передумать».

Этой критикой самого себя, своих ощущений, основанной на желании быть справедливым к другому человеку, переполнены страницы дневника Ф. М. в течение многих месяцев, в продолжение которых мысль его делается свежей и проще, желание определеннее. Наряду с любовью этой определенности и простоте мысли помогло еще и то обстоятельство, что Ф. М. в том же 1862 году удалось найти такого ценителя своих произведений, какого он сам всегда желал. Этот ценитель был некто Т., сослуживец Ф. М., человек отчасти знакомый с литературой и вообще понимавший больше, нежели все до сих пор бывшие судьи произведений Ф. М. Этот судья был хорош для Ф. М. тем, что хоть и любил и был ласков с ним, но к првизведениям его относился строго.

«В сочинении «Два барина» Т. не нашел ничего хорошего. Разбирая каждое слово, он говорил: «Вот тут нет стиха. Здесь непонятно. Нельзя понять, что такое *два барина?* Да и сочинение написано не стихами, а только под рифму». Одним словом, он выказал много ума. Говорил о Лермонтове, Пушкине… а мое сочинение для печати не годится! О драматических сочинениях он сказал, что я еще не могу писать драмы, тем более стихами, каких (драмы стихами) никто еще у нас в России не писал. Советовал на первый раз написать небольшую повесть или рассказ… Советовал написать пока статью о библиотеке в казенной палате… Из его слов я замечал, что сочинения мои дрянь, одно увлеченье, без всякой цели… Не бросить ли их? Нет, я буду писать! Ах, если бы деньги! бросил бы я службу.

…Драму «Панич» он не читал: «тут много написано, не хочется… Да вы оставьте их! Вы не можете писать драмы».

Как ни суровы эти проговоры и как ни грустно было переносить их Ф. М., однако он не может не сознаться, что в них есть доля правды.

«Т. прав, — пишет он через несколько дней после знакомства с новым критиком, — «Два барина» дрянь… Они давно мне самому такими казались. Еще когда писал, то думал бросить… Однако попытаюсь послать (в

> какую-нибудь редакцию), есть же и незанимательные стихотворения… Да! стихотворения, стихи, — а у меня-то что? Все говорят: не стихи и не проза… Что же такое? Господи боже мой! Как плохо быть бедному человеку со способностями!.. Опять: «со способностями». А кто знает, есть ли во мне способности? Может быть, это бред, глупость, как говорит мой дядя? О, если это скажет мне один из будущих моих редакторов и рецензентов, — я брошу все и уйду! Буду жить в одной любви к всеблагому отцу моему и творцу…»

Есть строчки в дневнике Ф. М., где как будто проскальзывает обидчивость на приговоры Т., но скоро он убеждается, что Т. прав, и не может не слушаться его советов. Покоряясь им, он пишет рассказ *из заводской жизни,* повидимому уж без «неестественных» фантазий, под заглавием «Скрипач», [10] и статью о библиотеке, которую Т. переделывает по-своему. Эту статью Ф. М. несет к редактору «Губернских ведомостей» г. П. — и приобретает в его лице нового советника, который хотя и «посмотрел с недоумением» на Ф. М., когда тот принес ему для прочтения свои драмы, но все-таки был полезен ему, действуя в том же духе, как и Т. Он задал ему работу этнографическую: описать Пермь, ее нравы и обычаи, начиная со святок. [11]

Таким образом, 1862 год в жизни Ф. М. можно считать одним из самых лучших. Любовь воскресила в нем и довела до высшей степени способность и потребность «не осудить» человека, а встреча с гг. Т. и П. направила эту способность на явления, которые толпились у Ф. М» перед глазами, на материал, которого у него было накоплено слишком много и который до настоящего времени Ф. М., повидимому, считал ненужным. Результатом этих влияний является драма в пяти действиях «Раскольник». Некоторые сцены в ней, правда, носят еще печать прошлых искажающих влияний. Так, речь раскольника написана стихами (чтобы стихи выходили вернее, Ф. М. купил курс стихосложения и — проверял по правилам каждый стих), и в объяснении таинственной жизни этого человека в уединении, среди леса, примешана доля монастырской морали. Но Ф. М. уже тотчас по написании драмы сознается, что не совсем хорошо знает общественные и религиозные причины одиночества отшельника, говоря только, что он «слыхал, что есть старцы». Самая личность раскольника, впрочем, нужна автору для того, чтобы сгруппировать вокруг него недовольные типы из простого и рабочего народа, и здесь Ф. М. в первый раз является тем, что он есть. Заводские нравы, которым отдано в драме две трети места,

изображены ярко, правдиво. В побуждениях, руководящих этим народом в побегах с завода в лес к раскольнику, все реально, просто, без малейшей примеси чего-нибудь из области «сверхъестественного».

> «…"Раскольника» я кончил, — пишет Ф. М. в своем дневнике. — Стихосложение Перевлесского мне много помогло, без него я решительно не мог писать стихов… *но все-таки они не стихи…* Мне надо свободу! Мне надо запереться для сочинений… Материала у нас очень много… Наш край обилен характерами. У нас всякий, кажется, живет на особицу (на свой образец), чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин… *А сколько тайн из жизни бурлаков неизвестно миру?* Отчего это до сих пор никто не описал их? Отчего наш край молчит, когда даже и Сибирь отзывается?.. Я не могу в себе отличить таланта, пусть это скажут люди. Я знаю только, так по крайней мере мне кажется, что «Скрипач» и драма «Раскольник» написаны дельно. Это только для опыта. В них мало смелости. Пусть только эти два сочинения выйдут в свет, я буду знать, что я могу писать, и буду писать смело».

IX

Из этого отрывка видно, что Ф. М. начинает, наконец, выбираться на ту дорогу, с которой он уже не сходил в течение всей последующей литературной деятельности своей.

Нам остается поэтому сказать еще очень немного о переменах во внешней обстановке жизни Ф. М., так как весь путь, пройденный его талантом, нами очерчен.

По мере того как Ф. М. стал уяснять себе, что именно может сделать он с своим дарованием, по мере того как он стал верить, что дарование это у него есть, жить в Перми стало для него скучно и бесполезно. Явилась мысль ехать в Петербург, приняться за дело серьезно, учиться, служить.

Особенно пусто показалось ему в Перми после неожиданной развязки романа. По случаю приезда в казенную палату ревизора Ф. М. должен был проводить на службе дни и ночи, не имея времени часто посещать семью любимой девушки. Виделись они очень редко, хотя Ф. М. ни на минуту не забывал о предмете своей любви, продолжая анализировать свои к нему отношения. Среди этих-то размышлений и служебных хлопот он неожиданно узнает, что девушка, которую он любил, выходит замуж… «Господи! как мучительно и тяжело, — пишет он, — видеть ту, которую ты любишь, в тот день, когда подруги снаряжают ее к свадьбе, шутят исподтишка над тобой и она сама вовсе не обращает на тебя внимания! Что я ее люблю, вижу из того, что каждый день думаю о ней, жалею, что не могу на ней жениться, потому что не узнал ее, хотя и писал в дневнике иной раз совсем другое… Быть может, она выходит замуж совсем не по любви?»

Чтоб удостовериться в этом, он отправляется в любимый домик; но визит этот был весьма неудачен. Мать и дочь приняли его так, что ему казалось, будто они хотели сказать: «Зачем вы пришли?» Невеста была весела, а одна из подруг ее, кивнув на Ф. М., довольно громко сказала: «Всё еще похаживают?» Все это глубоко его опечалило. Просидев молча четверть часа, он ушел и более уже не встречался с этой девушкой.

Пусто и одиноко стало ему в Перми. Единственная надежда на исход был ревизор, который полюбил Ф. М., занимавшегося у него на дому перепиской бумаг. Ревизор ценил в Решетникове хорошего писца и способного чиновника и обещал ему перевод в Петербург. Как и всякому, кого Ф. М. считал образованным и могущим дать ему «благой совет», он представил и ревизору для прочтения свои сочинения, прося похлопотать о помещении. В ответ на эту просьбу ревизор, уезжая в Петербург, сказал ему

между прочим следующее: «Что касается сочинений, то вот что, Решетников, я вам скажу: *вы писать не можете.* Я сам писал когда-то, но к чему это повело? Ровно ни к чему! Всех литераторов, таких как вы, ожидает нужда и голод… Вы не учились в высшем учебном заведении, вы нигде не бывали. Что вы можете написать? И для чего? Я не знаю, впрочем, ваших способностей, не знаю ваших сочинений, потому что вовсе не читал их». Ф. М. сказал, что он и жить не может без сочинений, что у него страсть. «Мало ли что! — возразил ревизор. — Но надо надеяться и на рассудок». И в доказательство страсти, побежденной рассудком, ревизор привел себя, сказав, что и у него была страсть к картам, однако он преодолел, а теперь вот уже сколько лет не берет их в руки. Этот разговор кончился следующими словами ревизора: «Я вас постараюсь определить… Но теперь, через десять дней, вы должны сказать мне: будете вы сочинять или нет? Если вы будете сочинять, — вы останетесь здесь; если нет, — я вас переведу». Трудно было Ф. М. решить эту задачу. «Я не могу жить в Перми, — пишет он после вышеприведенного разговора, — мне надо новой жизни… Что сказать (ревизору)? Сказать, что я не буду писать, — я должен его обмануть, и что тогда будет со мною? Сказать, что буду, — значит остаться в Перми… И бог знает, что будет со мною… Нет! Скажу лучше: «не буду» — и стану ждать на это ответа… Сделаю для него все, соглашусь, и тогда — будь что будет! Уеду… но тихонько буду писать, *пока обстоятельства* службы и жизни *не прекратят* эту охоту… Ах, если бы знали, что это за страсть! Что делать! Я так наделен судьбой, что не мог образоваться… Разве я не могу еще писать лучше? Я могу научиться… Мне хочется… Но служба?.. О, я не долго проживу этою мучительною жизнью!..»

Ревизор уехал в 1862 году, осенью. Целую зиму и весну Ф. М. терпеливо дожидался от него письма, скучая, волнуясь за будущность своего дела, с горечью вспоминая утраченную любовь. Наконец весной 1863 года долгожданное письмо, с разрешением ехать и обещанием места, пришло. Ф. М. распродал свои вещи, выпросил у родственников позволения разыграть свои часы, побывал у них, простился и, несмотря на то, что ему отсоветовали ехать, в июле месяце все-таки уехал в Петербург.

> «Когда я простился с друзьями, — пишет Ф. М. с парохода, на котором ехал в Петербург, — и когда пароход стал отплывать от берега, мне стало крепко грустно… От меня удаляется и милый город, удалялась и милая река (Кама), которую я любил с детства, с ее бурлаками… Я любил на ней плавать и, когда рыбачил в

детстве, подолгу задумывался над природой, мне чего-то хотелось, куда-то меня тянуло… На ней я провел горькую пору моей жизни, на ней узнал себя, сличая людей… Я был туп в то время, но я рвался быть лучше… В Перми я ничего для себя не сделал… Мое воспитание, забитость… даже любовь не принесла мне ничего хорошего… Был ли хоть один день с какой-нибудь надеждой? А любил я берег Камы, любил просиживать подолгу ночью у Архиерейского Ключика и любоваться тихою Камою, звездами и серо-темными тучами, отражающимися в воде, всплески рыболовов, закамские огоньки и лед, когда он шумит и ломает все по пути… Да, любил я твою природу, Кама! Теперь ты катишь меня далеко, и бог весть, — ворочусь ли я?»

В начале августа 1863 года Ф. М. приехал в Петербург но и тут не сразу стало ему лучше; хотя, по протекции ревизора, он и получил занятия в одном из департаментов министерства финансов, но жалованья ему пришлось получать меньше, нежели он получал в последнее время в Перми, а именно девять рублей вместо десяти пермских. Жил он поэтому в каморке, рядом с кабаком, и чтобы как-нибудь сводить концы с концами, стал писать небольшие очерки в *«Северную пчелу»*. Платили ему за них мало и неаккуратно. Один из сослуживцев его, брат Н. Г. Помяловского, уже умиравшего тогда в клинике, человек, знакомый с литературным делом, надоумил его снести только что написанных *«Подлиповцев»* в редакцию «Современника», и с этого времени имя Решетникова сразу заняло высокое место. Материальные обстоятельства его изменились к лучшему, гонорар за литературный труд обеспечивал жизнь помимо службы, и вследствие этого скоро он вышел в отставку, а через несколько времени после того и женился.

X

С тех пор в течение восьми лет он постоянно работал в больших и маленьких журналах, и каждое более или менее крупное произведение его возбуждало в обществе и литературе самые разнообразные толки. То он оказывался слишком большим, то слишком малым, то художником, то писарем, то мог — «проникать до корня», то оказывался необыкновенно поверхностным, скучным, длинным. Личное знакомство с Ф. М. для заинтересовавшегося в разъяснении этого запутанного таланта было почти бесполезно, а сам Ф. М. положительно терял некоторую долю своей литературной интересности. Он был угрюм, неразговорчив, необщителен, порой груб. От всех он сторонился, смотрел волком, ко всему и всем был подозрителен; редко-редко добродушная улыбка осветит это угрюмое лицо. Никаких блестящих фраз он не говорил, а если принимался рассказывать что-нибудь, то речь его касалась всегда предметов наиобыденнейших, была длинна, расплывалась в мелочах и утомляла тем более, что Решетников говорил монотонно, «себе под нос», не выпуская из зубов коротенькой трубочки, отчего каждое слово отделялось паузой. Наблюдатель уходил ни с чем, чтобы потом, при появлении нового произведения Ф. М., удивляться попрежнему смешению в этом «совершенно обыкновенном» человеке великого и малого.

Теперь читатель, знакомый с прошлого жизнию Ф. М, видит, отчего был он угрюм, застенчив, боязлив; отчего потерял веселость, юмор, способность шутки. Жизнь посбила много дорогих цветов с его сильного таланта, ничем никогда не помогла ему развиться, хотя и дала взамен многого, понапрасну утраченного, полное знание народной жизни, уменье понимать ее глубоко и правдиво.

Не бросающаяся в глаза, скрытая, но истинная любовь к народу, желание ему пользы, добра были постоянными руководителями Ф. М. в работе. Вот что писал он Н. А. Некрасову, представляя ему своих «Подлиповцев»: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время еще очень много не только в Чердынском уезде, Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею — Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я двадцать лет провел на берегу Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков, я задумал написать бурлацкую жизнь, *с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам.* Я не думаю, чтобы цензура нашла что-

нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему, написать все это иначе, значит говорить против совести, написать ложь… Наша литература должна говорить правду… *Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы, во время его мучений».*

В бумагах Ф. М. мы нашли много подлинных доказательств этой истинной любви к человеку. Вот записка о каком-то пропавшем мальчике, с обозначением примет, выписанных из газеты, на случай — не удастся ли найти его; вот ненапечатанная статья о дурной пище чернорабочих, старающаяся кого-то убедить, что простому народу нужен свежий воздух. Между этими бумагами особенно интересно прошение, адресованное Ф. М. к санкт-петербургскому обер-полициймейстеру. В прошении этом Решетников рассказывает следующее. Вздумалось ему пойти однажды в концерт; прочитавши афишу и не заметив, что она вчерашняя, старая, он отправился в дворянское собрание, где, вероятно, в это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустил Ф. М. в подъезд; он пошел в другой, и там не пустили — «прогнали прочь», по собственному его выражению. Ф. М. рассердился, и когда на «его прикрикнули: «Куда ты лезешь? кто ты такой?» — «Мастеровой!» — грубо отвечал Ф. М. Результатом такого ответа было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства, — писал он в прошении. — Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые — *не били народ*… Этому «народу» и так придется много получить всякой всячины…» Из этих же оставшихся после смерти Ф. М. бумаг и записок видно, что ни на одну минуту его не покидало желание «научиться», развить себя. Он читал книги, делал из них извлечения, собственно для себя, и что мог — он сделал в этом отношении. А мог он уже очень немного: здоровье его было слабое; он уж в Петербург приехал больным, измученным… Смерть стояла не за горами, и 9 марта 1871 года он умер, на тридцатом году жизни, от отека легких. Вечная ему память от всех страждущих, «трудящихся и обремененных!»

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты статей «Федор Михайлович Решетников», «Николай Александрович Демерт», «Праздник Пушкина», «Секрет», «Подозрительный бельэтаж», «Смерть В. М. Гаршина», «А. П. Щапов» и «Автобиография», а также примечания к ним подготовлены А. В. Западовым. Остальные статьи и раздел писем (тексты и примечания) подготовил Н. И. Соколов; ему же принадлежат составление «Хронологической канвы жизни и деятельности Г. И. Успенского» и «Указателя имен и названий».

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ РЕШЕТНИКОВ

Впервые опубликовано в качестве вступительной статьи («биографический очерк») в первом томе сочинений Ф. М. Решетникова, изд. К. Т. Солдатенкова, М., 1874. Перепечатано в III томе Сочинений Успенского (СПБ., 1891) и воспроизводится по этому тексту.

Успенский, лично знавший Решетникова и ценивший его творчество, близкое ему, после смерти писателя (9 марта 1871 г.} выступил с некрологом на страницах журнала «Отечественные записки» (1871, кн. IV). Он проявил большую заботу о литературном наследии Решетникова, собрал и посмертно опубликовал несколько его произведений и принял участие в подготовке издания сочинений Решетникова, для которого написал биографический очерк. Материалами ему служили дневники, письма и другие документы Решетникова, главным же образом текст повести «Между людьми», содержавший, по достоверным свидетельствам современников, ряд фактов из жизни писателя. В результате Успенский создал первое исследование о жизни и творчестве Решетникова, ставшее основой для всех последующих работ об этом писателе.

Главное внимание Успенским обращено на детские и юношеские годы Решетникова. Он рисует потрясающую картину провинциальной забитости и нищеты, обстановку угнетения и жестокости, калечившую талантливого подростка и его сверстников. Картина эта приобретает характер большого социального обобщения.

Вместе с тем Успенский показывает, как настойчиво Решетников, человек из народа, тянулся к знаниям, к литературе, проникнутый стремлением приносить пользу простым

трудящимся людям, тяжелое положение которых он так хорошо представлял себе по собственному опыту. Путем затраты огромных усилий Решетников добивается своей цели, он становится писателем и в своих произведениях смело и глубоко раскрывает судьбы крестьян и рабочих в царской России.

Эта мысль о творческом подъеме талантливого самоучки, о возможности такого пути для одаренных натур даже в условиях самодержавного строя, наиболее занимает Успенского. Петербургский период жизни Решетникова освещен значительно меньше. К тому же, тут пришлось бы говорить о литературно-общественных и бытовых отношениях Решетникова с рядом современников, для чего время еще не настало.

Статья Успенского, выдвигавшая принципиальные вопросы развития литературного творчества писателей-разночинцев, была сочувственно встречена демократическими кругами русских читателей и вызвала ожесточенные нападки реакционной печати.

Стр. 48. *Дядя А-н* — П. А. Алалыкин, брат воспитательницы Решетникова.

Стр. 51. *Некто Т.* — В. А. Трейеров.

Стр. 52. *…статью о библиотеке.* — Имеется в виду статья «Библиотека для чтения чиновников Пермской казенной палаты».

Стр. 53. *…работу этнографическую.* — Решетниковым был написан очерк «Святки в Перми».

Стр. 57. *Брат Н. Г. Помяловского* — В. Г. Комаров.

Стр. 58*...пойти… в концерт…* — Случай этот описан Решетниковым в очерке «Филармонический концерт», напечатанном после смерти писателя в тифлисском «Новом обозрении» (1884, № 48, 18 февраля) при содействии Успенского. Строки биографии, в которых Успенский рассказывает о происшествии с Решетниковым, цитировал В. И. Ленин в главе «Бей, но не до смерти» статьи «Случайные заметки» (см. В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 376).

notes

Примечания

1

Это свойство натуры перешло к Решетникову, повидимому, от матери; она заболела и умерла от испуга.

2

В числе причин, объясняющих это таскание газет, Ф. М. между прочим упоминает о том, что ему нравилась форма конвертов, гладенькая бумажка, хороший почерк на конверте. Поощрения учителей сделали это баловство необходимостью, а потом привычкою.

3

Пиво это обыкновенно настаивалось на листовом табаке. Это рассказывал сам Решетников.

4

Молитва эта находится в приведенном отрывке.

5

Во время пожаров, бывших в Перми в 1859 году, Ф. М. нанимался по ночам караулить дома обывателей, за что получал двадцать копеек — «потому что, — говорит он, — у меня не было денег». От этой работы он «нажил» рубль двадцать копеек.

6

…Виноватого меня
Вы, ради бога, пожалейте!

(Окончание поэмы «Приговор».)

7

То есть не обижайтесь моим молчанием, суровым звуком голоса. (Примеч. Г. И. Успенского.)

8

Все это выдумано, по всей вероятности, сослуживцем Ф. М. Описаны были уездные начальники, а не губернские; А. С. присочинил это ради того, чтобы через дядю, который знал хорошо чиновничью иерархию, посильнее отмстить Ф. М-чу. (Примеч. Г. И. Успенского.)

9

В рукописях Ф. М. мы нашли комедию «Судейкин». Комедия эта написана прозой и, судя по содержанию, очень подходит к «Деловым людям», о которых мы кое-что знаем из дневника. Одно ли это и то же, сказать трудно, но направление найденной комедии точно так же вполне обличительное.

10

Этого рассказа мы в бумагах Ф. М. не нашли.

11

Статья эта помещена в 52 No «Пермских губернских ведомостей» 1862 года.